Владимир
ВОЙНОВИЧ

Замысел

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга состоит из трех книг, написанных в разное время, но она едина и каждая ее составная есть часть общего замысла. При подготовке книги к печати я думал, не осовременить ли текст, убрав из него какие-то куски или детали, которые сейчас могут казаться неважными, устаревшими, и добавив новые пояснения, уточнения. Но потом решил, что подобное исправление текста задним числом может помешать читателю почувствовать атмосферу того времени, когда все это написано. Так что пусть все останется как есть

- Владимир Войнович
  -
  - Междусловие
  - Введение в тему
  - Манциг цванциг
  - Есть желание встретиться
  - Со штатом охранников и овчарок
  - Засушил сухари
  - Иван Чонкин и Никита Струве
  - «Давайте издаваться здесь»
  - «За шапку он оставить рад…»
  - Гостиница «Метрополь»
  - После «Метрополя»
  - Доктор Аркадий Новиков
  - Андрей Амальрик любил денежки
  - Это уж слишком и очень смешно
  - Тот, который во мне не сидит
  - Убийство туриста В Нью-Йорке
  - Молчание – золото
  - Резолюция президента
  - Семнадцать лет спустя на том же месте
  - Непоследовательный Сергеев
  - Хочешь, я расскажу тебе про свою семью?
  - Нам показалось
  - Чаепитие на Лубянке
  - Глаза, глаза, везде глаза
  - Лицо жар-птицы
  - Под влиянием мнительности
  - В связи с тем, что скатился
  - Чужие дети растут быстро
  - Лапшу на уши

    - Убийство Богатырева
    - Последний разговор с Серегой
    - Все общество было отравлено
    - Послесловие
- notes
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

Владимир Войнович

Дело № 34840

СОВЕРШЕННО НЕСЕКРЕТНО
НАЧАТО 11 МАЯ 1975 ГОДА
ОКОНЧЕНО 30 МАЯ 1993 ГОДА
ЗАКРЫТО НЕ ЗАКРЫТО

Междусловие

Я давно заметил, что человек, начинающий вопрос словами «правда ли», почти всегда предвкушает согласие и бывает разочарован ответом противоположного свойства. Так была разочарована однажды французская журналистка. Она спросила меня: «Правда ли, вы пишете всегда только о том, что случилось с вами лично?» – и занесла ручку над блокнотом, чтобы записать мой утвердительный ответ. И была неприятно удивлена, услышав ответ: «Нет, неправда».

На самом деле я всегда считал, что по-настоящему художественным может считаться только литературное произведение на вымысле. Где воображенные автором герои действуют в придуманных им обстоятельствах. Это, может быть, странно, но ни один из реально существовавших людей, каким бы ярким он ни был в жизни, будучи описан в литературе, не может сравниться с вымышленными персонажами вроде, например, Дон Кихота, мадам Бовари, Швейка, Обломова, Плюшкина или Коробочки. Свои собственные честолюбивые планы и надежды в литературе я всегда связывал с сюжетами, основанными только на вымысле, и вполне вероятно, что вообще никогда не склонился бы ни к какой документалистике, живи я в другом обществе, при другом политическом строе. Но с самого начала моей литературной карьеры государство в лице своих разного калибра функционеров стало вмешиваться в мою жизнь, мешало работать, прерывало исполнение замыслов, предъявляло мне бессмысленные и совершенно неисполнимые требования и временами делало мою работу и жизнь невозможной. В конце концов, защищаясь от всех этих интервентов в мою душу, я как бы сказал им мысленно: ну хорошо, вы не даете мне описывать вымышленных героев в вымышленной реальности, давайте я буду описывать вас и такими, как вы есть. Я вам покажу, что писатель не столь безобидное существо, как вам кажется. Я вам преподам такой урок, какой вы никогда не забудете. Так родилась «Иванькиада». Может быть, именно эта работа стала первым толчком к возникновению замысла книги «Замысел», во всяком случае к замыслу общему она имеет самое прямое отношение. «Дело № 34840» было задумано как эпизод книги «Замысел». Она, собственно, и есть эпизод, может быть, несоразмерно разросшийся. Но несоразмерность разных частей не противоречит общему замыслу. Короче говоря (и об этом сказано выше), весь текст, помещенный под данной обложкой, это не сборник повестей, а единая книга – «Замысел». Содержание которой, как я

и обещал когда-то, будет постепенно меняться по мере продолжения жизни автора и закончится вместе с ней. А теперь – за дело. За «Дело № 34840».

Введение в тему

Ниже излагается история одного покушения, совершенного Комитетом госбезопасности СССР в 1975 году, и рассказ о расследовании, на которое автор потратил ровно восемнадцать лет.

Сама история была в свое время описана, но ожидаемого эффекта не произвела, поскольку состояла из фактов, в которые одни просто не верили, другие верить боялись, третьи не хотели, четвертые, когда заходила речь или сами ее заводя, помогали не верить первым, вторым и третьим. Автор оказался в положении джеклондоновского персонажа, которого соплеменники побили камнями за небылицу о том, будто белые люди плавают по морю в железных посудинах. Соплеменники знали точно, что железо не плавает.

Трудность усугублялась еще и тем, что иные даже косвенные доказательства своей правоты автор не мог полностью привести из опасения повредить некоторым людям, кое о чем вынужден был помалкивать и предпочитал не раскрывать своих ближних и дальних намерений.

Теперь, когда детективный сюжет развился, дотянувшись до наших дней, а в прежних умолчаниях проку не стало, автор решил изложить всю историю целиком, как она случилась тогда, с описанием обстоятельств, в которых она происходила, событий, за нею последовавших, с добавлением подробностей и документов, полученных в результате расследования, приведшего в конце концов к раскрытию тайны, которую хранило в свое время КГБ и изо всех сил пыталось сохранить нынешнее Министерство безопасности России.

Манциг цванциг

4 мая 1975 года было тем самым Светлым воскресеньем, про которое народом или каким-нибудь членом Союза писателей была сочинена частушка:

Слава партии родной
За любовь и ласку,
Отобрали выходной,
Обосрали Пасху.

Для идеологического отдела ЦК КПСС даты совпали исключительно удачно. 1 и 2 мая официальный праздник, третьего – нерабочая суббота, а выходной с четвертого мая перенесли на десятое, чтобы, утопив религиозное чувство в патриотическом угаре, дать народу возможность три дня гулять по случаю тридцатилетия Великой победы, а следующее воскресенье 11 мая объявить снова рабочим днем для окончательного сбития с панталыку.

Возможно, изобретателю такой передвижки была объявлена благодарность, а если им был лично главный идеолог страны Михаил Андреевич Суслов (кто его помнит сегодня?), тут не думаю, чтоб обошлось без какого-нибудь высокого ордена.

Утром в половине девятого в моей комнате вкрадчиво зажурчал телефон.

Полдевятого утра – время, в которое люди нашего полубогемного образа жизни друг друга не поднимают. Мы все обычно поздно ложимся и поздно встаем. А вчера я лег особенно поздно, засидевшись у Кости Богатырева на вечеринке по поводу приезда Костиного лагерного друга. Несмотря на свою постоянную бедность, Костя всегда и охотно что-нибудь праздновал: свой день рождения (два месяца тому назад как раз было пятидесятилетие), день рождения жены Лены Суриц, годовщину своего ареста или освобождения, какую-нибудь где-нибудь публикацию и даже книжную посылку из-за границы. А тут приехал из Донецка этот самый друг, который, несмотря на солидный (за пятьдесят) возраст и внушительную внешность, в узком кругу назывался Гришкой Агеевым и никак иначе. О нем я был уже наслышан от Кости: «Вот приедет Гришка, ты с ним обязательно должен встретиться, это чистый Чонкин. Между прочим, он спас мне жизнь. Один уголовник хотел проломить мне голову ломом, но Гришка подлетел и лом перехватил. Но

интересен он не этим, а тем, что это чистый Чонкин».

И вот вчера звонок: «Если у тебя есть время, приходи. Гришка приехал». Я сказал «хорошо» и повесил трубку. Он позвонил опять: «Если есть что-нибудь выпить, то принеси, пожалуйста».

У меня, конечно, кое-что было. Мои первые публикации на Западе принесли не только неприятности, но и открыли на короткое (очень короткое) время доступ к магазину «Березка», где скромных сертификатных гонораров хватало на всякие напитки, тогда еще очень дешевые: бутылка виски или джина стоила около одного сертификатного рубля (полтора доллара).

Моя жена Ира со мной пойти не могла: у нее на руках наша полуторагодовалая дочка Оля.

Прихватив с собой 0,75 тогда еще диковинного «Джонни Уокера», я отправился к Косте, который жил на Красноармейской улице, в ста шагах от меня.

Это были еще времена, когда приезжавших иностранцев удивляло, что русские, постоянно жалуясь на жизнь и отсутствие в магазинах чего бы то ни было, выставляют на стол невероятное количество всяких напитков и закусок. Да меня, признаться, задним числом этот феномен и самого поражает. Уж на что были бедны Костя и Лена, а и у них если званый ужин, то стол просто ломился от обилия выставленных на нем блюд.

Сейчас за столом кроме хозяев сидели Владимир и Лариса Корниловы, а в качестве главного гостя и главного угощения – Григорий Агеев, крупного (вдоль и поперек) сложения, с лицом смуглым, асимметричным, простоватым и плутоватым. Под столом находилось еще одно существо – фокстерьер Прошка, подобранный где-то Леной. Был он, как и хозяева, довольно нервный, но в отличие от хозяев агрессивный; лежа внизу, он иногда по-своему реагировал на поведение сидевших за столом, начинал вдруг зловеще урчать, а то и просто ни с того ни с сего вгрызался в ногу кого-нибудь из гостей. При этом знал, кажется, меру – ботинки насквозь не прокусывал.

Агеев сидел во главе стола, как именинник, но держался поначалу скромно и скованно, его еще не раскачали.

Он порадовал меня сообщением, что в Донецке благодаря отчасти его пропаганде многие люди слушали по Би-би-си три передачи по «Чонкину», а один из его друзей записал передачи на магнитофон, с магнитофона перепечатал и теперь распространяет среди своих.

Питье разливал Костя. Когда он наклонял над рюмкой бутылку, руки у него дрожали. Они у него всегда дрожали, и это с ним стало после Сухановки, пыточной тюрьмы, которую, как говорили, никто не выдерживал, а он выдержал.

Выпили, закусили, еще раз выпили, и Костя стал подбивать своего друга, чтобы тот рассказал о себе.

– Ну, давай, давай, – поощрял Костя. – На вот еще выпей для разгону. Ну, рассказывай.

– Да ну, – вяло и привычно, но всего лишь для проформы артачился Агеев, – чего там рассказывать? И рассказывать нечего.

– Расскажи, как ты попал в немецкий лагерь.

– Ну, как попал? Как все попали. Я тогда жил в Ростове, мне было семнадцать лет, и меня как раз только что призвали в армию. Меня, конечно, могли и не призвать, потому что я был неблагонадежный. Мать у меня умерла, а отец, как мне говорили, был изъят органами НКВД. Но мне это удалось от народа скрыть. Я жил у тетки и о том, что мой отец изъят органами НКВД, никому не говорил. А даже наоборот, как хамелеон, маскировался под нормального советского юношу и в самодеятельности читал «Стихи о советском паспорте». За что меня, как наиболее преданного советской власти, и взяли в Красную Армию. Несмотря на то что мне было только семнадцать лет, и не зная того, что мой отец изъят органами НКВД. Но мне родину защищать слишком долго не пришлось. Когда немцы подошли к Ростову, товарищ Сталин, руководствуясь своими, значит, стратегическими замыслами, передвинул войска на заранее подготовленные позиции, и так передвинул, что вся наша дивизия, со всеми командирами и комиссарами, попала в «мешок». А наш политрук говорит: умрем, говорит, ребята, но живыми врагу не дадимся. Но сам знаки различия со своих петлиц спорол, чтобы остаться живым даже и после сдачи.

Ну, мне было, конечно, легче врагу отдаться живым, потому что я был не политрук и советскую власть, правду сказать, не любил. Почему не любил, не знаю. Может быть, на почве личной обиды. Потому что я был к тому времени уже сирота. Мать умерла, а отец был изъят органами НКВД. Что я, ясное дело, скрывал. Но когда немцы меня в плен взяли, стали, значит, расспрашивать, кто такой, я понял, что теперь скрывать ничего не надо, а надо наоборот. И на вопрос, кто мои родители, я отвечал прямо: мать, говорю, так и так, умерла, а отец изъят органами НКВД. Только раньше изъятие отца было как бы минус, а теперь как бы плюс.

Вкусив, и как следует, «Джонни Уокера», Агеев раскраснелся, разошелся, теперь никакой скованности в нем вроде и не бывало.

– Немцы меня сперва из других прочих не выделяли и отправили в лагерь для военнопленных под Тихорецк. Ну, я там и был. А потом кто-то заметил, что возле меня все время народ. Где я, там толпа. Я им про советскую власть анекдоты рассказываю,

какая нехорошая была власть, все в лежку лежат, смеются. Ну, немцы сразу заметили, что я человек влиятельный, с тенденцией к лидерству и вообще могу быть полезен. Тем более при таких биографических данных – отец изъят органами НКВД. Ну, значит, проходит какое-то время, вдруг вызывают меня к начальнику лагеря. А там сам начальник, какой-то еще эсэсовец и переводчик. Ну, опять стали расспрашивать, кто такой, откуда, где родители. Ну, я говорю, как есть: мать умерла, отец изъят органами НКВД.

– Как относишься к советскому режиму? – спрашивает эсэсовец.

– Яволь, – говорю, – к советскому режиму отношусь с большим отвращением.

– Ну что ж, – говорит, – мы тебя пошлем в Кенигсберг, там есть школа русских пропагандистов, которые согласны сражаться против коммунистов.

Ну, и направили нас в Кенигсберг. Меня и еще одного. Дали нам немецкую форму без погон, дали документы, талоны на еду. Поехали. Ехали сами. С пересадками. На станциях везде полевые кухни для немецких солдат и для таких, как мы. Пюре картофельное и сосиски.

Правда, порции маловаты. Немцы жаловались, что им недостаточно, а нам ничего, хватало. У нас с напарником было такое большое ведро, я подхожу к повару и говорю: «Манциг цванциг». То есть на двадцать человек. А он же мне не поверить не может, не может оскорбить меня подозрением, что я, такой приличный молодой человек, ему вру. И накладывает почти полное ведро. Ну, мы с напарником тут же за угол зайдем, по десять порций навернем, так еще ничего, жить можно.

Все это Агеев рассказывает с такими уморительными ужимками, что все хохочут, а больше всех Костя, открывая ряд стальных зубов, тускло сияющих, как патроны в обойме. «Манциг цванциг!» – повторяет он восхищенно и дергается в конвульсиях, словно слышит это впервые.

– Самое главное, – говорит он, утирая выступившие слезы, – что все это правда.

Агеев рассказывает дальше.

В Кенигсберге будущих пропагандистов направили в общежитие. Поселили каждого в отдельной комнате, завалили антисоветской литературой, дали карточки на еду, на парикмахерскую, на кино и публичный дом.

Ввиду присутствия дам, рассказывать о публичном доме Агеев не стал. Но зато рассказал об экзамене, который ему устроили как будущему антисоветскому политруку:

– Вхожу в комнату, там за столом несколько офицеров и один

генерал. Важный такой генерал с моноклем в глазу, точь-в-точь как в кино. По-русски говорит, как мы с вами. Расспросил меня, кто я такой и откуда. Говорю, из Ростова, сирота, мать умерла, отец изъят органами НКВД.

– Очень хорошо, – говорит генерал. – То есть не то хорошо, что ваш отец изъят органами НКВД, а что вы придерживаетесь правильных представлений о сущности коммунистической власти. Ну, а какой вообще круг ваших знаний? Литературой интересуетесь?

– Яволь, говорю, ваше превосходительство, очень даже интересуюсь.

Генерал переглянулся со всеми офицерами, все довольны, все головами кивают, вот какого образованного человека нашли! Даже литературой интересуется.

– Хорошо, – говорит генерал. – Значит, книжки читаете. И кто же, если не секрет, ваш любимый писатель?

– Маяковский, – говорю, – господин генерал.

Генерал так удивился, что даже монокль у него из глаза как лягушка выпрыгнул.

– Кто? – говорит. – Маяковский? А какое именно произведение Маяковского вы любите больше всего?

– Поэму «Владимир Ильич Ленин».

Костя Богатырев правой рукой схватился за живот, а левой машет и, давясь от смеха, уверяет, словно сам он там был:

– И самое главное, это все правда. Он ведь ничего не выдумывает.

Все хохочут, кроме Прошки, который под столом начинает тихонько урчать, предупреждая нас о нашем плохом поведении.

– Интересно, – изображает генерала Агеев, – интересно. А писателя Достоевского вы читали?

– Так точно, господин генерал, читал.

– И что больше всего вам понравилось у Достоевского?

– Роман «Что делать?»! – прокричал Агеев, чем сразил в сорок втором году немецкого генерала, а в семьдесят пятом всех нас, сидевших за столом у Кости Богатырева. И прежде всего самого Костю.

Ясно, что карьера Агеева как пропагандиста не состоялась. Его и его напарника немцы зачем-то отправили обратно, и путь их назад был полон приключений. Сначала они попали в руки к бандеровцам, которые хотели их расстрелять как москалей и коммунистов. Гришка рассказал, как сняли с него немецкие яловые сапоги и, разутого, повели на расстрел, и уж, казалось бы, что может быть несмешнее расстрела человека, но рассказчик так все подал, что слушатели опять помирают со смеху, а Богатырев

схватился за живот и корчится, словно у него приступ язвы. И опять, смахивая слезы, подтверждает:

– Все правда, все правда! – будто при несостоявшемся расстреле лично присутствовал.

Расстрел не состоялся, потому что по дороге к месту казни Гришка убедил бандеровцев, что он сам украинец, но говорит по-украински неважно, потому что после изъятия отца органами НКВД попал в детский дом, где москали запрещали детям говорить на ридной мове. Ктр-то из бандеровцев пожалел сироту, ему вернули жизнь и сапоги, взяли к себе на службу, на которой он пробыл два месяца с лишним.

– В конце концов, – сказал Гришка, – я к ним настолько вошел в доверие, – тут он приосанился и сделал значительное лицо, – что мне даже поручили ответственнейшее задание, в ходе выполнения которого, – на лице огорчение, – я и сбежал.

Тут Прошка не выдержал и вцепился Агееву в ногу, что (поскольку нога осталась цела) вызвало дополнительный взрыв смеха и предположение, не является ли Прошка агентом КГБ или цензором Главлита.

Агеев переместил ноги подальше от зверя и продолжил рассказ о своих похождениях и приключениях. Пока он возвращался в Ростов, город был отбит Советской Армией, куда его снова призвали. Но воевать ему не пришлось. В это самое время, сказал он, отбирали людей в дивизию охраны Сталина. На кавказском побережье для Сталина держали несколько дач, из них самая главная была на озере Рица. Новая дивизия и должна была эти дачи стеречь.

– Ну, естественно, – говорит Агеев очень серьезно, – туда отбирали людей кристальных, только с идеальными анкетами и чистейшими биографиями. Чтобы был обязательно из рабочих или крестьян, чтобы даже среди дальних родственников не было никаких репрессированных и чтоб сам никогда не был ни в оккупации, ни в плену, вообще, чтобы прозрачен был как стекло… вот почему я туда и попал, – заключает он свои рассуждения, отчего слушатели опять дергаются, сползая со стульев, а Прошка рычит.

Дальше был рассказ о том (и Костя, ссылаясь на свидетелей и подельников Агеева, божился, что и тут все чистая правда), как в дивизии по охране Сталина составилась подпольная группа, ставившая себе целью убийство охраняемого объекта, лишь только он вздумает в здешних местах отдохнуть и расслабиться. Возглавлял группу секретарь комсомольской организации.

Входили в нее рядовые, сержанты, офицеры и штатские лица, включая даже нескольких девушек. Группа вынашивала разные

планы от минирования дороги до снайперского выстрела. И все эти планы не состоялись только потому, что за много месяцев существования группы Сталин ни на одной из своих дач ни разу и не появился. В группе не нашлось ни одного стукача, и разоблачена она была случайно. А когда это случилось, чекисты просто ахнули: как же это они прозевали такой разветвленный заговор?

Обычно, когда им выпадало стряпать мнимое дело, они, для придания ему зловещего характера и масштаба, старались его всячески раздувать. Самого Костю, сказавшего что-то плохое о Сталине, судили, как за покушение, и первый приговор был – к расстрелу, а уж потом заменен двадцатью пятью годами. Но случаем Агеева и других, в самом деле замышлявших убийство Сталина и на суде нисколько своих намерений не отрицавших, начальство было настолько потрясено, что стало наоборот дело всячески заминать. Военный трибунал в Сухуми к расстрелу не приговорил никого. Всем дали по «четвертаку», но дивизию при этом расформировали, лишили знамени, старших офицеров – кого под суд, кого в отставку.

К концу вечера кто-то вспомнил о Пасхе. Религиозная Лена быстро собралась и ушла к всенощной, Корниловы – домой, а Костя и Агеев перебрались ко мне и здесь, перейдя с виски на водку, Агеев пытался прочесть свое изложение (стихами) «Анти-Дюринга», а Костя, восхищенный талантами друга, рассказывал, как тот в лагере изобрел и пытался построить миниатюрную подводную лодку, чтобы с ее помощью через какой-то канал со сточными водами бежать на волю.

Есть желание встретиться

Телефон дребезжал, я руку к трубке тянуть не спешил, но звонивший был терпелив и настойчив.

Не переселись Владимир Максимов к тому времени в Париж, я бы подумал, что это он. На Пасху он всегда звонил раньше других и не соответствовавшим событию мрачным голосом возвещал: «Христос воскресе!» Чем заставал меня неизменно врасплох. Я тут же начинал истекать суетливою мыслию: как? неужели опять Пасха? И что же отвечать? «Воистину воскресе»? А если я сомневаюсь, что воистину? А если даже не сомневаюсь, но язык мой деревенеет при необходимости произнесения любых ритуальных словес? В армии я всегда уклонялся от употребления уставных конструкций вроде «слушаюсь», «так точно», «никак нет», «не могу знать», а вместо «служу Советскому Союзу» норовил сказать «спасибо». За что выводим был из строя и наказуем несоразмерно провинности.

Оглядывая свою жизнь, могу сказать, что постоянное уклонение – в устной и письменной форме – от употребления определенных правилами слов и движений было причиной многих моих передряг, в том числе и исключения из советских писателей и фактического объявления вне закона.

Однако наступали новые времена, религия, переставая быть наркотиком для народа, в сознании многих постепенно, но неуклонно вытесняла Передовое Учение, неофиты зверели и предписывали колеблющимся рапортовать четко, по-пионерски: «Воистину воскресе!» Причем именно «воскресе», а не «воскрес»

На максимовское «воскресе» я отвечал обычно: «Здравствуй, Володя», никак не в порядке вызова, а, наоборот, в замешательстве.

Но в этот раз звонил не Максимов, а некий обладатель голоса тихого и смущенного.

– Владимир Николаевич? С вами говорят из Комитета государственной безопасности…

Вторжения *органов* в мою жизнь я ожидал и раньше, а в последнее время тем более, потому что некоторые мои действия и даже само по себе мое существование нарушали ту идиллическую картинку, которая по *их* замыслу должна бы сложиться после предпринятых ими усилий.

К описываемому времени все *у них* вышло почти как надо. Диссидентство удушить полностью не удалось (и не надо, враг нужен для увеличения количества мест, зарплат, устройства на теплые места ближайших родственников и корешей, для

получения званий, орденов, премий, квартир и прочего), но в литературе должны были наступить тишь да гладь. Солженицына выслали, Максимов и Галич уехали сами, кто там еще? Из оставшихся литераторов я у них, видимо, вышел на место врага номер один.

Прощенный за прошлое подписантство и даже одаренный возможностью издать две книги повестей (а до того у меня была всего одна тоненькая книжонка), я скушал подачку и, не сказавши спасибо, погряз во враждебной активности, которая проявилась сначала в том, что не уступил квартиру свою всесильному их человеку, полковнику КГБ (а я-то думал, он генерал) Сергею Иванько, затем написал открытое письмо председателю ВААП Борису Панкину, защищал Солженицына, вылетел с треском из Союза писателей, и теперь состоялось мое главное преступление: на Западе вышел из печати «Чонкин». Вышел и не собирался пропасть бесследно. Уже «Свобода» читала роман для советских слушателей полностью, Би-би-си сделало три большие передачи, «Голос Америки» и «Немецкая волна» тоже новинку вниманием не обошли.

Еще до русского издания появилось шведское, было накануне выхода немецкое, книга переводилась на английский и прочие языки, о чем было известно не только, конечно, мне.

Могли ли *они* такое терпеть?

Не могли, хотя и пытались.

Когда меня исключали из Союза писателей, тактика была взята на замалчивание. Не было такого человека и нет. И всё. Поэтому полное молчание, и даже у «Литературной газеты», всегда оповещавшей читателей обо всех исключениях и сообщившей незадолго до того об исключении Лидии Чуковской, для меня не нашлось ни слова.

«Вы не знаете, как поживает Войнович?» – спрашивали пытливые иностранцы кого-нибудь из секретарей Союза писателей СССР. Секретарь морщил лоб, тужился и отвечал на вопрос вопросом: «Войнович? А кто это?» Иногда даже мусолил пальцем список наличных членов и предъявлял спрашиваемому: видите, нет такого.

Власти делали вид, что меня нет, а я делал вид, что нет их, меня это более или менее устраивало, а их менее или более наоборот.

Но вот «Чонкин» появился на западном книжном рынке, а оттуда, отдельными экземплярами, стал просачиваться и сюда. С возмутительно оформленной обложкой. С изображением священной фигуры товарища Сталина в напяленном на него женском платье. Они были бы не они, если б стерпели и это. И

вот:

– …Государственной безопасности. Моя фамилия Захаров. У нас есть желание с вами встретиться. Если бы вы могли найти несколько минут времени…

Исключительно для проформы, чтобы отстоять свое никем не подтвержденное право на независимость поведения, спросил я: а что, по какому, собственно, делу, и получил ожидаемый ответ, что дело хотя и короткое, но важное и, конечно, ни в коем случае не по телефону.

Как будто нас мог подслушать кто-нибудь, кроме них самих.

У диссидентов были разработанные, записанные и распространяемые Самиздатом рекомендации: по звонку ни в коем случае ни в КГБ, ни в милицию, ни в прокуратуру, ни в суд – ни ногой. Только исключительно по повестке. И в повестке должно быть точно обозначено, по какому делу и в качестве кого: подозреваемого, обвиняемого, свидетеля. И я с этими правилами был совершенно согласен. Но был при этом любопытен и в любопытстве нетерпелив. И думал, что раз *они* хотят меня видеть, то своего все равно добьются, но, добиваясь, будут плести вокруг меня свою паутину, и я, ощущая плетение, не буду знать, для чего оно.

Короче, я согласился.

Не успел положить трубку, опять звонок, и тот же Захаров:

– Владимир Николаевич, у нас к вам просьба. Пожалуйста, пока никому не говорите, что вы к нам идете. А потом поступите, как захотите.

– То есть как никому не говорить? Даже родственникам? После некоторой заминки:

– Нет, ну родственникам, конечно, но все-таки нам бы хотелось пока без широкой огласки. Поговорим, потом поступайте, как хотите.

Тайна – первый союзник бандита. За предложением никому не говорить всегда стоит несколько целей. Во-первых, с пошедшим на тайную встречу можно делать все, что не получается при огласке. Во-вторых, обещание хранить тайну означает вступление человека в такие отношения, которыми потом можно при случае (не при каждом) шантажировать.

Поэтому я сказал звонившему, что шум заранее поднимать не буду, но и засекречивать свой визит тоже не собираюсь.

Во мне боролись и любопытство, и беспокойство, и страх совершить ложный шаг, и страх за своих близких. Хотя о себе самом я решил слишком не беспокоиться, а все же и за себя было боязно.

Должен сказать, что никаких иллюзий насчет

террористической сути советского режима я давно не питал. С тех пор как сознательно пошел на обострение своего конфликта с властями, я знал, что это очень серьезно, и готов был к тому, что моя свобода и даже жизнь могут прекратиться в любую минуту. Я нисколько не сомневался в том, что для верхушки КПСС и для КГБ, называемого романтическим мечом революции (я бы назвал его топором), не существует преступлений, перед которыми они могли бы остановиться. Для них не существовало ни закона, ни морали. Их ограничивали только физические возможности, текущая политика и действительные на данный момент соображения целесообразности.

Прикидывая за них возможные варианты, я предполагал, что в данный исторический момент разнообразных форм заигрывания с Западом сажать меня, может быть, не выгодно, но придавить где-нибудь в темном углу – почему бы и нет?

20 февраля 1974 года, когда я послал свое письмо секретариату Союза писателей (на самом деле оно было адресовано вообще *им,* то есть той неопределенной структуре, которую мы, чуждые структуре элементы, обозначали условно словами «советская власть»), я решил так. Буду считать, что сегодня моя жизнь завершилась. Бояться больше нечего. Но каждый день, который будет после сегодня, есть еще один подарок судьбы. Его следует принять с радостью, тем более что он может оказаться последним.

Такое психологическое настроение вряд ли можно считать приемлемым в нормальной жизни, но мое положение было далеко от нормального, я находился с государством в состоянии войны, а на войне психология любого человека меняется.

Всякому, кто, ступая на путь диссидентства, приходил ко мне за советом (а таких было немало), я диссидентствовать не советовал, говоря, что раз ищешь совета, значит, еще недостаточно припекло. А проявлявшим настойчивость советовал ни в коем разе не рассчитывать на выигрыш, не оставлять себе ни малейшей надежды на благополучный исход, поскольку в таком положении надежда есть слабость.

Меня провожала моя жена Ирина. Перед входом в приемную КГБ (Кузнецкий мост, 24) мы простились, договорившись, что, если часа через два я не вернусь домой, она начнет звонить иностранным корреспондентам. Я взял у нее три рубля на ларек. Она предложила больше, но я сказал, что *там* и три рубля – сумма немалая, в чем я, как мне потом объяснили бывшие зеки, ошибался, трешка и там – не деньги. В приемной меня встретил рыжеватый, конопатый, упитанный человек лет тридцати с обручальным кольцом на пальце. Это и был Захаров. Увидев, что

я не один, он всеми своими конопушками, и плечами, и ушами выразил ужасное смущение. Ему неудобно, показал он, что он беспокоит не только меня, но и жену. Изобразив Ире быструю смену недоуменных ужимок с пришепетыванием («право, вам не следует беспокоиться… но… в общем… как хотите…»), он повел меня в их главное здание, где сердитый прапорщик долго ворчал, не желая пропускать меня по истрепанным водительским правам (паспорт я забыл дома), но затем смилостивился.

В скромном кабинете на девятом этаже меня ждал старший соратник Захарова, высокий человек лет пятидесяти или больше. Вытянутое загорелое лицо, очки на горбатом носу, черные курчавые волосы коротко стрижены.

Вышел из-за стола, протянул руку (улыбка до ушей): Петров Николай Николаевич, очень рад познакомиться, давно мечтал.

На столе журнал «Грани» с моим рассказом «Путем взаимной переписки», «Литературная газета» с интервью Бориса Панкина, номер «Русской мысли», еще какие-то вырезки из газет, машинописные тексты, плакат с портретами пациентов спецпсихушек (и я среди них).

Хозяин кабинета смотрит на меня приветливо.

– Вы кому-нибудь сказали, что к нам идете?

– Сказал.

– Жене?

– Не только. Сказал нескольким людям, вам не обязательно знать, кому именно.

Улыбается.

– Не доверяете органам?

– Не очень.

– А почему?

– Такая у вас репутация.

– Владимир Николаевич, а разве вы не замечаете, что мы меняемся?

– Не знаю. Может быть, изнутри меняетесь, но снаружи не заметно.

Слова мои явно его огорчили, он стал мне доказывать, что они меняются, что они совсем не такие, как прежде, хотя многие никак не хотят этого видеть.

– Ну ладно, – сказал он, примирившись с фактом, что люди – существа неблагодарные, сколько хорошего им ни делай, все равно не поймут. Может быть, когда-нибудь в исторической перспективе разберутся, а сейчас – что поделаешь. – Как праздник провели, Владимир Николаевич?

Я прикинул, какой именно праздник? Если Пасха, то она еще вся впереди, а если 1 мая, то я, во-первых, о нем забыл, а во-

вторых, к праздникам советским и несоветским (не считая Нового года) давно уже не относился никак, и вопрос о качестве их проведения в приложении ко мне был лишен всякого смысла. Что же касается наших дружеских попоек, то они если и бывали связаны с датами, то это были дни рождений, свадеб или смертей, но никак не официальные годовщины.

– Зачем вам знать, как я провел праздник? Вы лучше скажите мне, кто вы?

– Я вам сказал: Петров, сотрудник комитета.

– Я бы хотел знать должность и звание.

– Да зачем вам это нужно? Потом посмотрим, как сложится разговор, я вам, может быть, и скажу. А пока давайте просто поговорим.

В самом деле, какая мне разница, кто он? Он может сказать все, что угодно. Вот и фамилию, конечно, наврал. (Я тогда решил почему-то, что Петров – это псевдоним, а Захаров – фамилия, и в первом своем репортаже называл одного Лже-петровым, а другого просто Захаровым. Потом выяснилось, что оба были «лже», но пока пусть останутся теми, кем назвались.)

Достаю сигареты, спрашиваю, можно ли курить.

– Да сколько угодно. Вот вам пепельница, располагайтесь как дома. Забудьте, где вы находитесь. Хотите, окно откроем настежь, чтоб было прохладно, хотите, совсем закроем, чтобы было жарко.

В последней фразе была полуприкрыта угроза, но я ее пропустил мимо ушей, меня пугали и посильнее.

Закурив, кладу сигареты на столик, рядом с собой. Сигареты у меня болгарские, называются «Интер», цена – 35 копеек. Захаров тоже тянется к пачке: «Можно, я у вас возьму сигаретку?»

Можно, конечно.

С лица Петрова не сходит благожелательная улыбка.

– Вот, Владимир Николаевич, смотрю я на ваши руки. Это рабочие руки. Это не руки писателя.

Думает, мне лестно, что у меня рабочие руки.

– Но я этими руками пишу, – говорю я на всякий случай.

– Да, вы ими пишете, но все-таки до сих пор видно, что это рабочие руки.

Я, понятно, настороже. Если это намек на то, что этими руками сподручнее держать не перо, а лопату, я не согласен.

А он гнет свою линию дальше: у меня такая трудовая биография, такая советская (прямо почти слово в слово по Галичу: «Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл…»).

– И как же это получилось, что вы с такой биографией вдруг оказались вне советской литературы?

Имей я желание говорить с ним всерьез и откровенно, я бы

сказал, что моя биография как раз и была главной причиной, почему я терпеть не мог и советскую власть, и советскую литературу. Я от рождения был человеком интеллектуального склада, а рабочим стал потому, что отца у меня сначала посадили, а потом он с фронта вернулся инвалидом, и остался при этом неблагонадежным, и занимал в маленьких газетах маленькие должности, и прокормить меня не мог. И как раз будучи рабочим и солдатом, я увидел, что реальная жизнь очень сильно отличается от ее изображения в совлитературе.

Но объяснять всего этого Петрову я не хотел и готов был вместе с ним удивляться, как же я с такой биографией так далеко зашел.

– Неужели они вас так втянули? – спросил Петров.

– Кто это «они»?

– Ну, например, те, кто издает вас на Западе, рекламирует. Тут мне и пришла пора делать ответный ход. Я в те годы

выбрал для себя такую тактику: отвечать тем, кому приходилось допрашивать меня от имени государства, что вы, мол, сами во всем виноваты. Если бы вы печатали меня здесь, я бы не стремился печататься там (к тому же тогда бы это и не имело значения). Если бы вы не сажали людей, то западной пропаганде не о чем было б шуметь и все было бы хорошо.

В таком подходе было, конечно, некоторое лукавство, но в нем же была и правда.

– Видите ли, – сказал я Петрову, – меня в эту ситуацию не втянули, а втолкнули.

– Да? – оживился он. – И кто же?

– В первую очередь руководство Союза писателей.

– Как?

– А вот перед вами мои интервью, там все написано.

– Да, здесь написано. – Он грустно покачал головой, давая понять, что написано здесь нехорошее. – Но вы же советский человек?

– Не знаю…

– Как не знаете?

– А так и не знаю. Был когда-то советским, а теперь и сам не пойму какой.

Для меня понятия «советский» или «антисоветский» давно уже были лишены всякого смысла, но вдаваться в дискуссию по этому поводу тоже не хотелось. Тем более что чем дальше от понятия «советский», тем ближе к Уголовному кодексу.

– Нет, Владимир Николаевич, вы советский человек.

– Вы так считаете? А я уже думал, что нет.

– Почему же вы так думали?

– Мне так говорили.

– Кто?

– Да в том же Союзе писателей неоднократно.

Петров досадливо морщится. Да, дураков у нас еще много. Стоит ли обращать внимание на то, кто чего скажет. Кто бы что ни говорил, а он, Петров, в моей советскости нисколько даже не сомневается.

– Вот, посмотрите, это же вы писали. – Подсовывает мне одно из двух подписанных мною писем в защиту Синявского и Даниэля: «Мы, всем сердцем преданные идеям социализма…»

Я очень хорошо помню, что, когда мне давали это письмо на подпись, меня как раз эта строчка насчет преданности всем сердцем весьма покоробила, но я очень хотел, чтобы Синявского и Даниэля освободили, и ради этого готов был подписать все, что могло привести к этому. О чем и сказал сейчас Петрову. Но при этом добавил, что с момента подписания письма прошло девять лет, я это время развивался и теперь к слову «социализм» добавил бы определение «с человеческим лицом». Так я тогда сказал, а теперь мне даже неловко повторять сказанное, но, впрочем, я и потом говорил и сейчас в подобной ситуации мог бы сказать: покажите мне социализм с человеческим лицом, а не свиным рылом, и я его охотно приму. Тем более что по моим представлениям (и сегодняшним) социализм с человеческим лицом – это смешанное общество, социализм, в котором достаточно капитализма. А капитализм с человеческим лицом – это тот, в котором достаточно социализма, то есть приблизительно то же самое.

Держась выбранной тактики, я стал убеждать моих собеседников (а через них и их начальство, среди которого, я думал, есть такие, кто со мной согласятся), что не те, кто подписывал письма, а те, кто к ним не прислушался, виноваты в ухудшении отношений с Западом и подрыве престижа СССР. Вас, мол, люди предупреждали, а вы не послушали, посадили Синявского и Даниэля. И что? Какая из этого польза? Может быть, вы теперь поймете, что нельзя писателей сажать за книги?

– Хи-хи, – неуверенно встревает Захаров. – Значит, бухгалтера можно сажать, а писателя нельзя?

– Если писатель что-то украл, то не только можно, а нужно. Кстати, среди руководства Союза писателей такие есть. Вот ими бы вы и занялись.

Но Петрова руководство Союза писателей не интересует, его интересуют мои эпистолярные упражнения, в их числе – открытое письмо Борису Панкину, председателю ВААП.

Со штатом охранников и овчарок

История письма Панкину – дело давнее и требует пояснения. 27 мая 1973 года Советский Союз присоединился к международной (Женевской) конвенции по авторским правам и учредил новую организацию: Всесоюзное агентство по авторским правам – ВААП. Люди, стоявшие у колыбели этого заведения, преследовали сразу несколько целей: 1) авторов поставить под полный произвол государства и наиболее неприятных душить, а менее неприятных грабить; 2) создать новую кормушку (в ранге министерства) с соответствующими креслами, окладами (частично в валюте), машинами, дачами и т. д.; и 3) использовать эту шарагу в качестве крыши для советских шпионов, которые во всех западных столицах тут же пооткрывают свои офисы. Да и вообще, это агентство так же, как и агентство печати «Новости» (АПН), с самого начала и до конца было филиалом КГБ, и во главе его стояли и отделениями его заведовали, внутри страны и вовне, гэбисты.

А что касается первого председателя ВААП Бориса Панкина, то, когда он, много лет спустя став на несколько дней министром иностранных дел СССР, пообещал очистить дипломатическую службу страны от агентов КГБ, один наш общий знакомый смеялся до слез и спрашивал, кто же тогда будет возглавлять министерство.

О рождении ВААП было объявлено в два этапа. Сначала в печати появился список неких учредителей во главе с председателем Госкомиздата Борисом Стукалиным (тоже, наверное, часть зарплаты получавшим на Лубянке), потом «Литератур-ка» напечатала интервью Панкина.

На интервью я решил откликнуться, потому что оно, во-первых, было направлено прежде всего против таких, как я, и потому, во-вторых, что как раз тогда, в октябре 1973 года, я искал повода для выхода из Союза писателей, что неизбежно вело меня к разрыву с государством и конфликту с КГБ. Это письмо было уже многократно опубликовано, но я его вставлю и сюда, чтобы не утруждать читателя отдельным поиском справочного материала (а кто читал это раньше, пусть извинит):

Председателю ВААП т. Б. Д. Панкину
в ответ на его интервью, опубликованное
«Литературной газетой» 26 сентября 1973 года

Уважаемый Борис Дмитриевич!

Правду сказать, до появления в газете Вашего интервью я волновался, не понимая, в чем дело. Вдруг какой-то совет учредителей создал какое-то агентство по охране каких-то авторских прав.

Для чего?

Авторские права внутри нашей страны порою своеобразно, но все-таки охранялись и раньше. А за рубежом…

Именно это меня всегда волновало. Кто, думал я, больше всего может беспокоиться об охране своих авторских прав за рубежом? Вероятнее всего, те, кто больше других там издается. Например, А. Солженицын, В. Максимов, академик А. Сахаров и прочие так называемые диссиденты, извините за модное слово. Было бы естественно предположить, что именно они вошли в совет учредителей. Но, узнав, что председателем совета избран товарищ Стукалин, я сразу отмел это предположение. Нет, сказал я себе самому, товарищ Стукалин такой совет никогда не согласится возглавить.

Ваше интервью кое-что прояснило, а кое-что еще больше запутало. С одной стороны, конечно, приятно, что в совет учредителей от писательской общественности вошли такие крупные творческие индивидуальности, как Г. Марков, Ю. Верченко, С. Сартаков и т. д. С другой стороны, непонятно, почему именно они больше других заботятся об охране авторских прав. Ведь на их авторские права за пределами нашего отечества, думается, никто особенно не посягает.

Мне приходили в голову самые нелепые мысли. Я даже подумал, что, может быть, пока я не следил за творчеством этих писателей, они создали необычайные по силе шедевры, над которыми нависла угроза попасть в Самиздат, в «Посев» или, например, к Галлимару. А может быть, они бросились на защиту чужих прав из чистого альтруизма?

Я попытался уяснить себе цели агентства, которое указанные товарищи учредили, а Вы возглавили.

В своем интервью Вы говорите, что деятельность вашего агентства будет направлена на «усиление обмена подлинными достижениями в различных сферах человеческого духа». Слово «подлинными» подчеркнуто не было, но я его все же заметил. Я подумал, что определять подлинность достижений в сфере

человеческого духа – дело довольно сложное. Иногда на это уходили годы, а то и столетия. Надо надеяться, что теперь подлинность достижений будет определяться немедленно.

Кем же? Вашим агентством?

Хотелось бы знать, по каким признакам. Можно ли считать подлинными достижения А. Солженицына? Или теперь подлинными будут считаться достижения товарища Верченко?

В тексте своего интервью Вы справедливо замечаете, что автору того или иного произведения заниматься охраной собственных прав будет «хлопотно и неэкономично». В подтексте Вы намекаете, что автору станет и вовсе хлопотно, если он, издаваясь за границей, не возьмет в посредники Ваше агентство. В таком случае автор, видимо, считается нарушителем государственной монополии на внешнюю торговлю и автоматически переходит в разряд уголовных преступников.

Это богатая идея. Она таит в себе ряд любопытных возможностей. Например, такую. Передав свое достижение за границу, автор сам становится объектом охраны. Охрану авторских прав вместе с носителем этих прав следует признать самой надежной. В связи с этим, мне кажется, было бы целесообразно возбудить перед компетентными инстанциями ходатайство о передаче в ведение Вашего агентства Лефортовской или Бутырской тюрьмы со штатом охранников и овчарок. Там же можно было бы разместить не только авторов, но и их правопреемников. А поскольку Ваше агентство обещает гражданам государств – участников Всемирной конвенции те же права, что и собственным гражданам, то такую же форму охраны можно было бы распространить и на них.

Меня, однако, смущает следующее обстоятельство. Ваше агентство, судя по всему, является общественной, а не государственной организацией. Но поскольку монополия на внешнюю торговлю принадлежит именно государству, и только ему, то не грозит ли Вашему агентству риск самому быть подвергнутому уголовному преследованию? Если агентство станет объектом охраны, то как оно сможет охранять что-то другое? Над этим, пожалуй, стоит подумать.

И еще одно предложение.

Поскольку Ваше агентство намерено само

определять, когда, где и на каких условиях издавать то или иное произведение или не издавать его вовсе, то эта правовая особенность агентства должна, очевидно, отразиться в его названии. Предлагаю впредь именовать его не ВААП, а ВАПАП – Всесоюзное агентство по присвоению авторских прав.

Всего лишь одна лишняя буква на вывеске, а насколько точнее становится смысл!

Развивая это предложение, можно считать естественным присвоение вместе с авторскими правами и самого авторства. В дальнейшем Ваше агентство должно произведения советских авторов издавать от своего имени и нести ответственность за их идейно-художественное содержание.

Желая внести личный вклад в это интересное начинание, прошу автором данного письма (и, естественно, носителем авторских прав) считать агентство ВАПАП.

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

(подпись)

2 октября 1973 года Москва

Это письмо было написано, когда моя жена лежала в родильном доме, готовая с минуты на минуту произвести на свет нового человека, и мысли ее были заняты только этим надвигавшимся неизбежно событием. Через три дня после написания письма родилась наша дочь.

Оставлю для более важной книги свой рассказ, как ездил я в те дни к роддому. У нас мужья при родах не присутствуют, их даже внутрь роддомов во избежание инфекций не пропускают, с женами они летом перекрикиваются, стоя под окнами, а зимой общаются посредством пересылаемых записок. Детей им показывают первый раз, поднося к окну. Но в нашем роддоме было новшество: детей показывали по телевизору с ужасным качеством изображения. На маленьком и мутном экране я увидел тонкошеее черно-белое существо, которое хлопало глазами и было похоже на аквариумную рыбку. У существа еще не было имени и потом еще не было несколько дней, пока мы перебирали варианты, поэтому мы называли его просто «девочка». «Ну, как тебе девочка? – спросила Ира в записке. – И как вообще дела?»

Я отвечал, что девочка красавица, вся в меня, а дела лучше не бывают, но ничего не сказал о том, что письмо мое уже передает с

повторениями «Немецкая волна», а из Союза писателей мне звонили и интересовались, когда бы я мог прийти для беседы с товарищем Юрием Стрехниным. Этот человек, с фамилией, напоминающей об аптеке, когда я к нему явился, даже не знал, как со мной разговаривать, и путем наводящих вопросов пытался понять, не повредился ли я в уме.

Мое письмо произвело на нашу так называемую общественность заметное впечатление. Жанр открытых писем, на короткое время вошедший в моду, тут же стал раздражать своим почти во всех случаях гневным, патетическим, а иногда и истерическим тоном.

Я этот жанр оживил, внеся в него насмешку.

Письмо без конца передавалось «голосами» и растекалось по незримым и необозримым просторам Самиздата.

Все близкие мне люди сразу, естественно, поняли, что этим письмом я бросаю вызов властям и делаю шаг, последствия которого непредсказуемы. «Володька, – сказал мне один из моих друзей, – они тебя за это убьют».

Ира готовилась к выписке из больницы, все еще ничего не зная о моем безумном поступке.

В это время уезжал в Америку и прощался с друзьями навсегда Наум (Эмма) Коржавин (Мандель). Ира позвонила ему, чтобы проститься хотя бы по телефону. «Ирочка! – закричал он. – Не волнуйся и, самое главное, не слушай радио». Ире его совет показался смешным: надо совсем не представлять себе настроения роженицы и условий советского родильного дома, чтобы предположить там, в палате на несколько человек, слушание радио, да еще «враждебного», на коротких волнах, с воем глушилок, из которых человеческий голос можно вычленить, только бегая из угла в угол, прикладывая приемник к батарее отопления или к кровати, переворачивая его и вообще производя много нелепых движений, достойных внимания психиатра.

Письмо свою главную роль сыграло: из Союза писателей я вылетел быстро и с треском, а публикация «Чонкина» и теперешний вызов стали дальнейшими следствиями того же поступка.

С тех пор прошло полтора года, и вот я в КГБ. И мое письмо Панкину лежит на столе в качестве то ли вещественного доказательства, то ли орудия преступления, и острие карандашика медленно продвигается над строкой.

– Вот здесь, – говорит Петров, – вы предлагаете передать в ведение ВААП Лефортовскую или Бутырскую тюрьму со штатом охранников и овчарок. Как это можно понять?

Объясняю: понять это можно так, что это сатира, а где сатира,

там и гротеск. А впрочем, и не совсем гротеск, сама наша действительность гротескова. Если это гротеск, то его автор не я, а Панкин. (Вообще-то, конечно, не только Панкин, а Маркс, Ленин, Сталин и прочие, но в конце цепи и Панкин тоже.) В своем интервью Панкин прямо намекает, что у нас есть государственная монополия на внешнюю торговлю. Кто отдает свои рукописи иностранному издателю, тот нарушает монополию, того ожидают некоторые неприятности в виде именно тюрьмы, а не что другое.

Кстати сказать, ответа на свое письмо от Панкина я не получил, но реакция на него была. Я в письме усомнился, может ли общественная организация пользоваться государственной монополией, и *их,* как я слышал, соображение неожиданно смутило, *они* со всеми своими юристами сами до него не додумались, а потом на каком-то совещании было сказано, что да, мол, этот подлец, к сожалению, прав, монополия государственная, организация общественная. Они, конечно, в любую минуту (своя рука – владыка) могли стать государственным агентством, но тогда их не признали бы другие участники конвенции.

Засушил сухари

Поговорили еще о ВААПе, перешли к моим писаниям. Оказывается, новые мои знакомцы давно и с пристальным интересом следят за всем, что я пишу.

Петров вспомнил, как в пьесе «Два товарища» бабушка смешно говорит вместо «петух» «хетуп», но наивысшим моим достижением он считает, разумеется, «Чонкина». Он, конечно, не специалист, а всего лишь средний читатель. Но книга ему понравилась. Очень. Интересуется продолжением.

– Третью часть пишете?

– Третью уже написал.

На самом деле написал, да не совсем. Но им говорю так, чтобы не искали и не пытались остановить. Поздно, мол. Хотя, увы, на самом деле не поздно. Рукопись не окончена и по свойственной автору беспечности существует всего лишь в одном экземпляре у него на столе.

– И там, в третьей части, – смеется Петров, – тоже про органы?

– Нет, там про другое.

– Ну, мне вообще-то все равно. *Я* по профессии конструктор…

Все кагэбэшники, которых мне приходилось видеть или о которых я слышал, были людьми скромных, но благородных профессий: инженерами, конструкторами, летчиками, кем угодно, только не собственно кагэбэшниками. Партия их временно кинула на трудный участок, вот и приходится тут заниматься черт знает чем, а душа рвется назад, к кульману и штурвалу.

– …Я по профессии конструктор. Но книги читать люблю. И как читатель скажу: жалко. Жалко, что ваша книга вышла на Западе.

– Как будто она могла выйти здесь.

– А что, лет восемнадцать – двадцать тому назад могла бы. Я мысленно отнял от семидесяти пяти восемнадцать и двадцать, но ни пятьдесят седьмой, ни пятьдесят пятый годы не показались мне подходящими для печатания «Чонкина» (для написания тем более).

– Так вот о чем я вас хотел спросить. Вы издаетесь на Западе. У вас что, совсем нет никакого желания печататься здесь?

Я пожимаю плечами:

– Печатайте, не откажусь.

– Ну мы, правда, издательствами не заведуем…

– Вы всем заведуете.

Оба смеются. Я слишком преувеличиваю их возможности. Но

в чем-то, конечно, могут помочь.

Захаров опять лезет за моей сигаретой и спрашивает, можно ли. Я отвечаю «можно» и пододвигаю сигареты к нему.

– Но, – говорит Петров, – вот ваше письмо секретариату Союза писателей…

…Тут пришла пора вспомнить о втором письме, которому тоже, несмотря на прежние публикации, самое место здесь. Тем более что оно в каком-то смысле является прямым продолжением первого. После письма Панкину последовала процедура (довольно громоздкая) теперь уже окончательного моего исключения из Союза писателей. Сначала разговор с вышеупомянутым Стрехниным, потом заседание бюро объединения прозаиков с активом (председатель Георгий Радов) и, наконец, назначенное на 20 февраля закрытое заседание секретариата Московского отделения СП, на которое и было вынесено мое «персональное дело» [1].

20 февраля за полчаса до секретариатского заседания адресату было доставлено это мое письмо.

В СЕКРЕТАРИАТ МО СП РСФСР

Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет проходить при закрытых дверях, втайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участия не желаю.

Нам не о чем говорить, не о чем спорить, потому что я выражаю свое мнение, а вы – какое прикажут.

Секретариат в нынешнем его составе не является демократически избранным органом, а навязан Союзу писателей посторонними организациями. Ни весь секретариат в целом, ни каждый из его членов в отдельности не могут быть для меня авторитетами ни в творческом, ни тем более в нравственном отношении.

Два-три бывших писателя, а кто остальные? Посмотрите друг на друга – вы же сами не знаете, что пишет сидящий рядом с вами или напротив вас. Впрочем, про некоторых известно доподлинно, что они вообще ничего не пишут.

Я готов покинуть организацию, которая при вашем активном содействии превратилась из Союза писателей в

союз чиновников, где циркуляры, написанные в виде романов, пьес или поэм, выдаются за литературные образцы, а о качестве их судят по должности, занимаемой автором.

Защитники отечества и патриоты! Не слишком ли дорого обходится отечеству ваш патриотизм? Ведь иные из вас за свои серые и скучные сочинения получают столько, сколько воспеваемые вами хлеборобы не всегда могут заработать целым колхозом.

Вы – союз единомышленников… Один ограбил партийную кассу, другой продал казенную дачу, третий положил кооперативные деньги на личную сберкнижку [2]… *За двенадцать лет своего пребывания в союзе я не помню, чтобы хоть один такой был исключен.*

Но стоит сказать честное слово (а иной раз просто промолчать, когда все орут), и тут же следует наказание по всем линиям: набор книги, над которой ты работал несколько лет, раскидают; пьесу запретят; фильм по твоему сценарию положат на полку. А за этим вполне прозаическое безденежье. И вот ты год не получаешь ни копейки, два не получаешь ни копейки, залез в долги, все, что мог, с себя продал, и, когда дойдет до самого края и если ты за эти два года слова неосторожного не сказал, к тебе, может быть, снизойдут и подарят двести – триста рублей из Литфонда, чтобы потом всю жизнь попрекать: «Мы ему помогали, а он…»

Не надо мне помогать, я не нищий. У меня есть читатели и зрители. Не стойте между ними и мной, и я в вашей помощи нуждаться не буду.

Я не приду на ваше секретное заседание. Я готов полемизировать с вами на любом открытом собрании писателей, а если хотите, рабочих, от имени которых вы на меня нападаете. В отличие от большинства из вас, я сам был рабочим. Одиннадцати лет я начал свою трудовую жизнь пастухом колхозных телят. Мне приходилось пахать землю, месить на стройке раствор, стоять у станка на заводе. Четыре года я прослужил солдатом Советской Армии. На открытом собрании я хотел бы посмотреть, как вам удастся представить меня акулой империализма или агентом иностранных разведок.

Ложь – ваше оружие. Вы оболгали и помогли вытолкать из страны величайшего ее гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место.

Ошибаетесь! Места в великой русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ее ряду.

(подпись)

– Но, – говорит Петров, – вот вы пишете, что могли бы выступить на открытом собрании рабочих и доказать, что вы не акула империализма… ну, этого, конечно, никто не говорит… Но вот второе, насчет иностранных разведок… тут можно и поспорить. Я думаю, сейчас вам на таком собрании трудно пришлось бы.

– Даже если я скажу все, что хочу?

– Да, вы скажете свое, а мы свое.

– Давайте попробуем. Боюсь, что вы на это не пойдете.

– Как знать.

– Угрожаете?

– Кто угрожает? Что вы, Владимир Николаевич! Ну, что вы!

– Я не возражаю. Можете угрожать. Только учтите, я ко всему приготовился.

– К чему приготовились? – спросил Петров с любопытством.

– Ко всему, – сказал я, не желая подсказывать варианты. Я уже тогда понимал, что, ломая человека, они всегда стараются подойти к нему не с той стороны, с которой он ожидает (что они в моем случае подтвердили).

– Ну, а конкретно?

– Конкретно – ко всему.

– Сухари, что ли, засушили? – засмеялся Захаров, вытягивая из моей пачки очередную сигарету.

– Засушил.

Оба смеются. Их смешат мои дикие, устарелые представления о КГБ, как о какой-то зловещей и черной силе. Конечно, и здесь работают разные люди, может быть, даже не всегда хорошие люди, но в целом КГБ – это очень гуманная организация и действует исключительно в рамках закона.

В этом я, естественно, усомнился. Привел им несколько примеров выхода за рамки. Сказал кое-что о тюрьмах, лагерях и психушках. Петров выслушал меня благожелательно, а Захаров с явным удивлением. Его представление о КГБ очень с моим расходится. Вообще он держится скромно, смущается и от смущенья часто хихикает. Хотя реплики подает, но неизменно сопровождает их застенчивым «хи-хи». Он как бы говорит: «Я, конечно, человек, хи-хи, еще молодой, может быть, по молодости

чего-то не понимаю, но я люблю нашу партию и наше правительство и не понимаю, как можно, хи-хи, изображать их в таком нехорошем, в таком неприглядном виде».

Поговорили о Солженицыне. В письме секретариату Союза писателей я его слишком перехвалил, назвав величайшим.

– Неужели вы его правда считаете величайшим?

Теперь можно признаться, что насчет «величайшего» у меня и у самого были кое-какие сомнения. Этим эпитетом желал я их (в данном случае союзписательских боссов) поставить на место, кто, мол, вы, пигмеи, по сравнению с «величайшим»? А потом уже, отправив письмо, перечел его и смутился. Что значит величайший? То есть самый-самый, из всех великих великий? Толстой – великий, Шекспир – великий, а этот «чайший»? Написал бы тогда «великий», вот и было бы в самый раз и даже немножко на вырост, во всяком случае, сейчас объясняться б не стал. Но с тех самых пор, залепив такое, пребываю в смущении и к другим носителям высоких достоинств эпитеты примериваю с большой осторожностью.

Но тогда мог ли я поделиться столь деликатными сомнениями с этими крокодилами? Никак не мог, но для себя проблему оставил неразрешенной. Ведь я вырвался из Союза писателей, пошел на разрыв с государством, обрекая себя и свою семью на всякие больше чем неприятности, и ради чего? Ради того, чтобы говорить правду. А оказывается, и в этом случае правду говорить нельзя. Есть перечень событий, действий, явлений, имен, которые «прогрессивному человеку» полагается упоминать только в таком контексте, а не в ином, потому что в ином это будет на руку им, и тогда вся наша «прогрессивная» общественность зашелестит, зашепчет из уха в ухо, что вы высказываете ваше отрицательное или недостаточно положительное мнение о том о сем не потому, что это действительно ваше мнение, а потому, что этим мнением вы хотите угодить им. И они сами поймут именно так. Поэтому высказывать независимые суждения позволяли себе только очень редкие люди, к которым я себя не всегда мог причислить, что меня самого в себе раздражало.

Года за полтора до описываемого момента был я введен в один диссидентский дом, где хозяйка, приветливо улыбаясь и поощряя к восхищению собою, расспрашивала меня о моих, как это говорится, творческих планах и, в порядке установления точек совпадения взглядов (идейных взглядов, конечно), вдруг спросила: «А правда, Максимов очень хороший писатель?»

Я, самонадеянно решив, что ко мне обращаются, как к эксперту (специалистом в данной области был все же я, а не

хозяйка), попытался приблизить оценку к более реалистичной. «Неплохой», – сказал я, слегка смутившись. И вдруг полыхнуло из глаз диссидентки, словно из огнемета, и услышал я суждение, которое было предложено мне в качестве директивного и единственно возможного к употреблению (как «Воистину воскресе» и «Будь готов»): «Володя Максимов – прекрасный писатель!» Атмосфера дружелюбия тут же истаяла, и я, поерзав еще на стуле и осознав, что оплошное мое высказывание будет здесь надолго запомнено, поднялся и удостоился холодного кивка в ответ на свое «до свидания».

Покидая этот дом, я думал, что жизнь мне предстоит даже сложнее, чем я рассчитывал, и впоследствии оказался больше чем прав. В каждой среде, к которой меня прибивала судьба, была своя идеология, свои ценности, шаблоны, правила поведения и фразеология, с которыми следовало считаться, везде от меня требовали соблюдения принятых в среде ритуалов, поклонения кумирам среды, везде настаивали на том, чтобы мое мнение совпадало с тем мнением, которое в этой среде на данный момент считалось единственно правильным и прогрессивным. А поскольку мнение мое слишком часто не совпадало с общим, то меня всю жизнь поправляли, одергивали и часто предписывали, что я на самом деле должен думать о том или ином предмете (а о некоторых предметах и вовсе запрещалось думать что бы то ни было), и при уклонении от предписаний имевшие власть наказывали, а не имевшие проклинали устно, письменно и печатно.

Особенно сильно мне попало от прогрессивной общественности за Сим Симыча Карнавалова в «Москве 2042», в котором все немедленно узнали Солженицына и спрашивали, как я посмел. Я говорил: это не Солженицын, а обобщенный образ. Мои критики возражали: не обобщенный образ, а именно Солженицын. А что, похож? – спрашивал я. Нет, совсем не похож! А как же вы тогда узнали? От этого вопроса критики сперва слегка торопели, но и тут изворачивались и спрашивали, понимаю ли я, на чью мельницу лью воду. Но тогда, в семьдесят пятом году, я лил воду на правильную, на прогрессивную мельницу.

– Неужели вы его правда считаете величайшим? – спросил меня тот, кого мы в нашем рассказе условно называем Петровым.

– Конечно, величайшим, а каким же еще?

(Не с тобой же, гадом, мне делиться своими сомнениями.)

– Да какой же он величайший? – заволновался Петров. – Какой же он величайший, когда он – вы знаете это? – препятствовал выходу вашей книги.

Иван Чонкин и Никита Струве

Опять вставим маленький комментарий к прежде написанному.

Решая в семьдесят третьем году, в каком издательстве печатать «Чонкина», рассматривал я выбор из двух известных мне возможностей: «Посев» и «ИМКА-Пресс». Но у «Посева» было два видимых недостатка.

Первый – в том, что он издательство определенно анти-. советской, очень узко ориентированной политической партии. Литература им нужна была только как подспорье в их пропаганде, а меня это коробило. Второй недостаток: они настаивали на передаче им мировых прав (беря себе 30%), от чего я после долгих колебаний уклонился.

У «ИМКА-Пресс» репутация была вроде бы поприличней. Хотя потом я понял, что и они определенной ориентации, с которой я не совпадаю, а таких, неориентированных, с кем совпал бы, среди русских издателей тогда не было. Не считая издательства «Ардис», которое в те поры меня не оценило, о чем покойный Карл Проффер потом жалел. Итак, подался я в «ИМКА-Пресс». Переслал рукопись и жду. Сижу как на иголках. Ужасно хочется, чтобы книга вышла до моего вполне вероятного ареста. Чтобы хоть подержать ее в руках, чтобы хоть посмотреть… Впрочем, если она выйдет, если привлечет к себе внимание, то, может быть, этого самого ареста удастся избегнуть.

Месяц проходит, два, три… роман не выходит. В чем дело? Ведь все говорят, что на Западе книгу можно издать очень быстро. Пытаюсь выяснить что-то, а как выяснить?

Надеюсь, что уже подрастает поколение, которое никогда не будет знать трудностей и опасностей попыток связаться с заграницей. Тем более связаться с издательством, которое хотя и не «Посев», а все же антисоветское, и не просто связаться, а по поводу издания книги, имеющей тот же эпитет – «антисоветская».

И вот я сначала терплю, а потом через каких-то людей, иногда верных, а чаще каких попало, шлю на Запад, в Париж, неизвестным мне главному редактору Никите Алексеевичу Струве и директору издательства Ивану Васильевичу Морозову кричащий вопрос: когда? Морозов отвечает нервно и смущенно [3], Струве нетороплив и несуетен. Скоро книга выйдет. Скоро, скоро. К Новому году. К Рождеству. К Пасхе. К Троице. Раньше советские редакторы обещали мне то же самое, но оперируя другими датами и, конечно, с предлогом «после». К годовщинам нам надо что-то «идейное» (о Ленине, партии, комсомоле), а потом

протолкнем и вас. После Первого мая, после Октябрьских праздников, после Дня Конституции, после 23 февраля, после столетия Ленина. После, после.

Несколько раз приезжали ко мне гонцы из «Посева», и я передавал разрешение на публикацию «Чонкина» им. (Одна из «посевовских» посланниц, очень красивая девушка, француженка, не понимавшая – или делала вид? – ни слова по-русски, потрясла меня тем, что мою записку сначала заклеила в целлофановый пакетик, а потом закатала в тюбик с зубной пастой. Столь профессиональный шпионский прием я видел первый и последний раз в жизни.) Но как только намерение мое становилось известно в Париже, Струве приходил в возбуждение, тут же отыскивал возможности связи со мной, умолял: дайте нам еще месяц. Я опять отказывал «Посеву», опять ждал и ждал.

Так прошел весь семьдесят третий год. В семьдесят четвертом году, после высылки Солженицына, мою рукопись и вовсе задвинули. Я никогда не подумал бы на Солженицына, что он мне мешал как-нибудь специально, но и в развитости в нем чувства солидарности тоже его не заподозрю. Он охотно принимал заступничество всех, но защищал некоторых выборочно и с расчетом. (И в некотором специфическом смысле правильно делал. Великому человеку для того, чтобы прослыть таковым, нужно всегда и точно рассчитывать, когда, в каком контексте, на каком фоне, в каком списке и рядом с кем должно появляться его имя.)

С появлением Солженицына на Западе у «ИМКА-Пресс» появилось много новой работы. Я уже в полном отчаянии, наплевав на всякую конспирацию, стал звонить им открыто по телефону и спрашивать прямым текстом: когда? И заметил, что тамошние издатели ведут себя немногим лучше наших домашних. И обещаний не выполняют, и лгут, а когда с колоссальным трудом (и, напомню, с немалым риском) дозвонишься до Парижа, то каждый раз оказывается, что Никита Алексеевич только что вышедши или еще не пришедши. Все, как здесь, с той только разницей, что «здесь» если издадут, то по крайней мере гонорары не зажиливают. А там… Там зажиливают (да еще как!), проявляя при этом много ханжества, лицемерия и демагогии, но высказать в то время хоть малейшее сомнение в святости намерений этих людей… Да ни в коем случае! Как можно! Это же будет опять на руку им, на руку КГБ. Я никаких сомнений и не высказывал, но год минул, и второй пошел на убыль, а где «Чонкин»? Когда выйдет? Похоже, что никогда.

На звонки мои отвечают уклончиво, но доходит окольное известие: вынуждены были отодвинуть книгу, потому что срочно

надо издавать «Бодался теленок с дубом», а следом за ним – последнее достижение общественной мысли, статьи нескольких, как сказано в «Континенте», смельчаков – сборник «Из-под глыб». Сижу, жду, надеюсь, что, может быть, после «смельчаков» найдется в издательских планах дырка и для меня. Но нет, хлынуло в дырку «Стремя «Тихого Дона», позже еще что-то. А мне все обещают то к Рождеству, то к Пасхе. После очередного религиозного праздника дозвонился до Струве: «Я, конечно, понимаю, я, наверное, не совсем ваш, вы можете меня вообще не печатать, но неужели вы не понимаете, в каком я положении? Неужели вы не понимаете, что «Чонкин» есть единственная моя хоть и эфемерная, но все же зашита? Если не хотите печатать роман, отдайте, верните его мне немедленно». – «Ну что вы, как мы можем не хотеть печатать такой роман? Это же не роман, это чудо, и мы его обязательно издадим. Причем приурочим издание к Франкфуртской книжной ярмарке. Когда книга попадает на книжную ярмарку, тогда ей самое большое внимание».

В сентябре семьдесят четвертого опять с трудом дозвонился до Струве: «Так выйдет «Чонкин» к ярмарке?» – «Что? К ярмарке? Нет, не выйдет. «Чонкин» из тех книг, которые ни в каких ярмарках не нуждаются. Он сам ярмарка».

В январе семьдесят пятого я в очередной раз позвонил в Париж и поздравил Струве с выходом «Чонкина» по-шведски. Это известие его, кажется, несколько смутило. Перевод вышел раньше оригинала. Тут уж Никита Алексеевич расстарался, и русское издание «Чонкина» вышло очень скоро, всего лишь на несколько дней отстав от немецкого.

«Давайте издаваться здесь»

Однако нам пора назад, на Лубянку. 4 мая 1975 года. Пасха, середина дня, «беседа» продолжается.

Солженицын не величайший гражданин, он монархист, шовинист, ко мне лично плохо относится, к тому же аморальный, на своей крестной дочке женился. Разве же это можно?

– А вас, – спросил я, – почему это беспокоит? Вы что, верующий?

– Нет! – быстро открестился Петров. – Я нет. -

– И я тоже нет, пусть он хоть на крестной внучке женится, мне все равно.

Обсудили лагерную тему и Сталина, который преступления, конечно же, совершал, но не надо забывать, что это был человек, тридцать лет стоявший во главе нашего государства.

– Николай Первый, – сказал я, – тоже тридцать лет стоял во главе нашего государства.

– Не может быть! – воскликнул Петров и удивился, когда я ему доказал, что было именно так. Или сделал вид, что удивился. Не думаю, что продолжительность царствования Николая – того или другого – его хоть сколько-нибудь занимала.

Поскольку мои собеседники продолжали меня уверять, что они не такие, я сказал, что готов им поверить, но они свое отличие от «таких» должны как-нибудь подтвердить. Например, выпустить на свободу всех политических заключенных, а на месте хотя бы одного из бывших лагерей устроить музей вроде Освенцима. И там же заложить могилу Неизвестного Заключенного. Чтобы родственники и потомки пропавших без вести могли прийти, поплакать, положить цветочек. Чтобы юные следопыты объявили поиск под девизом: «Никто не забыт, ничто не забыто».

– Вот тогда, – объяснил я, – про вас можно будет сказать, что вы совсем не такие.

Но они считают, что доказательства и так налицо.

– Согласитесь, – говорит Петров, – что в тридцать седьмом году здесь бы с вами не так разговаривали.

– Да уж, в тридцать седьмом и вы неизвестно где были бы.

– Да, – соглашается, – и работники органов многие тогда погибли.

Не успел я взгрустнуть по работникам органов, тема переменилась и коснулась издательства «Посев», к которому я, как уже ясно, имел очень косвенное отношение (дважды печатался в «посевовском» журнале «Грани», первый раз не по

своей воле, а второй – по своей).

У чекистов, похоже, была установка: делать вид, что на Западе вообще никаких издательств нет, кроме «Посева». А «Посев» ужасен тем, что за ним стоит политическая партия, которая стремится к свержению нашего строя. Печатаясь там, вы тем самым участвуете в попытке свержения.

Я не против такой трактовки, но говорю своим собеседникам, что этой ужасной партии помогают прежде всего они.

– Кто? Мы? – удивился Петров, а Захаров опять попросил:

– Можно закурить?

– Да берите, – сказал я раздраженно (он мне надоел), – берите и не спрашивайте. Конечно, вы, – ответил Петрову, – больше других помогаете этой партии.

– Интересно, – засмеялся Петров. – Каким же это образом?

– Самым прямым. Запрещая талантливые книги, вы делаете все, чтобы они достались «Посеву». Хотите разорить «Посев»? Печатайте лучше здесь.

– Но нельзя же все печатать, что пишется.

– Все нельзя, а лучшее можно. Лучшее печатайте здесь, а худшее отдавайте «Посеву».

– Значит, вы считаете, – уточнил Петров, похоже, для доклада кому-то, – что мы сами помогаем «Посеву»?

– Еще как помогаете! Изо всех сил.

Как читатель увидит ниже, мой допрос был санкционирован очень большим начальством. Я не знал этого, но не сомневался, что разговор наш в записи (магнитофонной или бумажной) пойдет куда-то «наверх». Я не исключал того, что там, «наверху», есть люди, которым, пусть даже в их собственной борьбе за власть, моя аргументация покажется резонной. Но прислушивающихся к резонам людей «наверху» пока не было, они сидели еще в своих крайкомах-обкомах и выжидали, когда сойдет под кремлевскую стену предыдущее поколение.

Перескочили на иностранных корреспондентов: зачем я с ними общаюсь, зачем даю интервью?

Спрашиваю простодушно:

– А разве нельзя?

– Нет, можно, конечно, – разрешает Петров, – но они же вас, наверное, искажают. Вот посмотрите, – показывает «Русскую мысль» с переводом моего интервью немецкой газете. – Вы здесь Ильина [4] называете генеральным секретарем Союза писателей. Вы же не могли так сказать?

– Не мог. Я, конечно, назвал его секретарем по оргвопросам.

– Вот видите! А они что пишут?

– Погрешности обратного перевода.

Крутит головой.

– Это не обратный, это тенденциозный перевод.

– Да, – подхихикивает Захаров, – генеральный секретарь, это, знаете ли, хи-хи…

Теперь уже, наверное, не только иностранцам, но и подрастающим соотечественникам следует объяснять, что генеральным секретарем назывался верховный вождь КПСС и всея страны и название самой этой должности следовало произносить с благоговейным трепетом и ни в коем случае не приписывать никому другому. И опять же «Русская мысль» называет Ильина генеральным секретарем, а я не протестую и таким образом соучаствую в этом ужаснейшем преступлении.

– Но посмотрите, под каким заголовком они дают ваше интервью. «Глумление над талантливым писателем». Разве вы здесь не видите тенденции?

– Нет, я вижу здесь чистую правду. Тут Захаров не сдержался:

– Но они же вас возвеличивают!

– А вы хотите, чтобы они вас возвеличивали?

Захаров смущается, потупляет глазки. Он человек скромный, очень советский, и чтобы они его возвеличивали, этого – хи-хи – лучше не надо.

– А вот еще здесь, видите, они вас внесли в список жертв, как они пишут, советской психиатрии. Но вы же не сидите в психбольнице? Нет?

– Нет, – подтверждаю, – конечно, нет.

Петров продолжает исследовать лежащий перед ним текст.

– А вот здесь вы говорите, Владимир Николаевич, что вы человек аполитичный. Разве может писатель быть аполитичным?

– Может, – говорю я. – Чехов был аполитичный. И другие. И вот этот мой рассказ – «Путем взаимной переписки» пример аполитичности [5].

– Ну да, – недоверчиво захихикал Захаров. – Этот рассказ не аполитичный. В нем самый отрицательный герой… член – хи-хи – КПСС…

– А что ж, если он член КПСС, я ему должен голову елеем мазать?

Было выкурено много сигарет, произнесено много слов, после чего я понял, что никак угодить им не могу, все мои попытки отвратить от себя наказание провалились. Сейчас Петров нажмет кнопку, и вооруженные люди отвезут меня на казенной машине в Лефортово. Ну, что ж, я же сказал, что был готов ко всему, в том числе и к этому. И даже к худшему. Я думал, они меня так ненавидят, что, посадив, постараются подвергнуть каким-нибудь ужасным унижениям, но я этого не допущу и буду защищать свою

честь любой ценой, даже ценой жизни.

Мне было жаль моих близких – жену, сестру, родителей и особенно детей, и особенно Олю. Дети от первого брака были все же постарше. Марине шестнадцать, Паше тринадцать, а она совсем крошка, вырастет, не помня отца, а какая это для ребенка травма, я знал по собственному опыту.

Что касается моих писаний, то хоть и тратил я свое время и силы бездумно на бесконечные общения, кухонный треп, пьянство, шахматы и прочие глупости, а все-таки кое-что написать успел.

В пятьдесят девятом году меня сюда притащили, когда я вообще еще делал первые шаги в литературе. Вот когда я боялся пропасть бесследно. А сейчас, ну ладно, хоть что-то останется.

Если просто тюрьма, если одиночка или общая камера, это ничего. Самое ужасное, если камера, где уголовники специально натасканы, чтобы издеваться, мучить и унижать. Некоторые считают, что «пресс-хаты» – это изобретение новейшего времени, но это не так. Году, примерно, в сорок девятом попал я в милицию, и там обещали мне камеру с уголовниками, где новичкам для начала устраивают «парашютный десант», то есть берут за руки, за ноги, поднимают повыше и бросают спиной на цементный пол. А потом еще серия упражнений в том же духе. Но я себе давно сказал: если так, буду сопротивляться при самой малой возможности, с помощью любого предмета, тяжелого или острого, буду драться, кусаться, царапаться до тех пор, пока хоть чем-нибудь смогу шевелить…

– Так как, Владимир Николаевич, – донесся до меня откуда-то голос Петрова, – вы хотите печатать свои книги в Советском Союзе?

– Что? – переспросил я. – Я вас не понял.

– По-моему, я понятно говорю. Я спрашиваю: вы что же, совсем не хотите больше печататься здесь? Хотите только на Западе?

Оказывается, меня не только не сажают, а еще даже торгуются.

– А разве можно и здесь?

– А почему же нельзя? Давайте издаваться здесь. Давайте сделаем так, чтобы не за границей, а у нас ваши книги шли нарасхват.

– Да я, собственно, не против. Давайте. С чего начнем?

– Вот об этом как раз и надо подумать.

Конечно, я не настолько лопух, чтобы сразу поверить.

– Вы небось хотите начать с того, чтобы я дал отпор Солженицыну, буржуазной пропаганде или себе самому.

– Да что вы! Разве я вам что-нибудь подобное сказал? Я хочу только одного: чтобы вы печатались здесь. Вы согласны?

– Если остановка только за моим согласием, я вам его даю.

– Но как практически?

Объясняю, что практически способ печатания книг известен приблизительно со времен Гутенберга.

– Но мне бы хотелось услышать от вас какое-то конкретное предложение. Может, для начала что-то переиздать?

– Переиздайте.

– Или издать что-то новое?

– Могу предложить и новое. Только что-то не понимаю. Вы же такие непримиримые, неужели будете печатать человека с моими взглядами?

– Вот видите, я же говорю, что у вас об органах устарелые представления. Мне бы хотелось, чтобы вы нас лучше узнали. Давайте еще раз встретимся. Ну, не здесь (здесь, может быть, на вас эти стены давят), а где-нибудь в другом месте, в более непринужденной обстановке.

– В гостинице?

– Хотя бы в гостинице. А что?

Нет, ничего. Мне как-то рассказывал Виктор Некрасов о своей встрече с гэбистами в гостинице, мне показалось это интересным, и я захотел посмотреть, как такие номера выглядят. Заряд любопытства, которое кошку сгубило, во мне еще был немалый.

– Но все-таки, – говорю я, – ваши предложения выглядят как-то странно. А может быть, вы надеетесь завербовать меня в осведомители?

– Что вы! – всплеснул руками Петров. – Это я даже побоялся бы вам предложить.

– Побоялись бы? И правильно. Мне однажды предлагали… Должен заметить сегодня, что слово «предлагали» к тому, что было на самом деле, в общем-то не подходит. Во время моего первого вызова и допроса в КГБ еще в пятьдесят девятом году были некоторые туманные намеки («вы нам поможете, мы вам поможем») и был вопрос, что говорят наши профессора на лекциях в институте (я сказал, что на такой вопрос не всегда могу ответить даже на экзамене), но никакого внятного предложения все-таки не было. Петров смеется:

– Вы все-таки нам не верите. Даже не знаю, как вас убедить, что мы хотим от вас только одного: чтобы вы печатались.

– И ничего больше?

– Ничего.

– Так возьмите и для начала напечатайте «Чонкина», если он вам так понравился.

– А что, я бы напечатал. Правда, я попросил бы вас выбросить одно только слово – ПУ КС.

Одно слово я согласился выбросить немедленно, хотя, если б дошло до дела, неизвестно, как бы себя повел. «ПУКС» все-таки слово в романе не лишнее.

Разговор подошел к концу. Последовало еще несколько вопросов мимоходом. Кого я знаю из молодых писателей? Никого не знаю. (Все-таки я был все время начеку и ни разу ни одной лишней фамилии просто так не назвал.) Как поживает Владимир Корнилов? Ничего, поживает.

– А деньги он из-за границы получает?

– Это вы у него спросите.

– А вы не знаете?

– Я не знаю.

– Ну так что, не хотите с нами встречаться?

– Да все не могу никак понять, для чего.

– Что ж тут непонятного? Подумайте, что именно вы хотели бы напечатать и где. И приходите со своими предложениями. Да что вы колеблетесь? Запишите телефон. Захотите – позвоните, не захотите – не звоните. Вы же ничего не

теряете.

Ну, конечно, я ничего не терял. Я помнил пословицу об увязшем коготке и пропавшей птичке, но верил, что не дам увязнуть и коготку. Никакой невидимой границы не перейду, ни в какие расставленные ими силки не влезу.

Поэтому я взял лист бумаги и записал: Петров Ник. Ник., 228-80-34.

Пока мы с хозяином кабинета жали друг другу руки, Захаров бегал подписывать пропуск и, вернувшись, пошел меня провожать.

Возле лифта в деревянной рамке висела бумага с машинописным текстом: «Дирекция, партком и завком завода «Борец» выражают глубокую благодарность работникам Комитета государственной безопасности за активное участие в коммунистическом субботнике».

Этот текст, такой обыкновенно советский, подействовал на меня расслабляюще, вызвав чувство, что я был в обыкновенном советском учреждении.

Но, наверное, все-таки стены Лубянки и правда на меня давили, потому что я был радостно удивлен обилием солнечного света и обыкновенностью протекавшей снаружи жизни.

Удивился и Ире, которую тут же увидел на тротуаре.

– Ты что, – спросил я, – так все время здесь и стояла?

– Так и стояла, – сказала она.

– Но ты могла бы зайти хотя бы в книжную лавку, чтобы занять себя чем-нибудь.

– А я и так была занята – я психовала.

– Ну и напрасно, – сказал я. – Напрасно психовала. Все идет хорошо.

(Я ей всю жизнь говорю, что все хорошо, но она всю жизнь почему-то не верит.)

Вернувшись домой, мы освободили Анну Михайловну (тещу) от обязанностей няньки, и тут же задребезжал телефон. Телефонистка сказала:

– Будете говорить с Парижем!

И в трубке зарокотал усталый государственный голос, словно передававший мне директиву в закодированном виде:

– Христос воскресе!

Я, как всегда, смутился и опять не нашел ничего лучшего, как ответить:

– Здравствуй, Володя.

– Ну как дела? – великодушно прощая мне мое ритуальное невежество, спросил звонивший.

Вопрос был не так прост, как казался. Звонивший интересовался не просто моими делами, а обещанным отрывком для «Континента».

– Дела, – сказал я, – Володя, пока ничего, но то, о чем мы говорили, пока отложим.

«За шапку он оставить рад…»

Итак, к описываемому моменту мне было почти сорок три года, у меня было (повторяю) трое детей, – шестнадцати, тринадцати и полутора лет. С матерью двух старших я разошелся, но ответственности за них с себя не снимал и заботой своей старался их тоже не обделять.

Занимаясь литературным трудом около двадцати лет, написал я много чего, но из того, что, как я самонадеянно думал, после меня может остаться, у меня были полторы книги «Чонкина» (вторую я как раз дописывал), повести и рассказы «Хочу быть честным», «Расстояние в полкилометра», «Путем взаимной переписки». Еще, имей я власть сам руководить оставлением своих писаний во времени, я бы включил в оставляемое кое-что из других книг – некоторые главы, куски и строчки. Вот и все.

Я всю жизнь работал много и в любые часы суток, а если это не отразилось на количестве книг, то только потому, что все написанное (включая даже частные письма) я всегда по многу раз переписывал. В переписываемом часто зарывался настолько, что не улучшал его, а ухудшал и потом выкидывал. Десятки тысяч страниц, мною исписанных, выкинуты на помойку. Тысячи разбросаны и утеряны. Я всегда и неуклонно соблюдал завет Пастернака (даже когда не знал его): «Не надо заводить архива, над рукописью трястись». Вот уж чего не делал, того не делал, и даже слишком. (Недавно, в 1992 году, ЦГАЛИ [6] предложил мне сдать им мой архив на хранение, я окинул взглядом свои бумажки, подумал: «Разве это можно назвать архивом?» И вежливо отказался.)

Литературную мою судьбу можно назвать удачной, но вряд ли благополучной. О стихах говорить не будем, а проза, самая первая, была немедленно опубликована и замечена. Но я не умел «проталкивать» свои книги, дружить с критиками, ладить с начальством и скрывать свое отношение к советской власти, даже когда хотел. Зато умел попадать во все черные списки, которые за время моего пребывания в советской литературе были составлены. Иногда даже в списки, состоявшие из одного имени.

С самого моего литературного рождения я был среди тех, кого или почти не печатали, или полностью запрещали. В начале своей карьеры я очень мало интересовался политикой, не пылал гражданскими страстями и вообще не стремился «высовываться», но те из породы начальства, с кем мне приходилось соприкасаться, сразу же понимали, что я чужой.

Чужим я был не по идейным или классовым соображениям, а органически.

В возрасте шестнадцати лет в моей жизни произошел забавный и знаменательный случай. Я, только что окончив ремесленное училище, работал на заводе. Приближался какой-то советский праздник, и дирекция с парткомом и завкомом готовились вывести своих трудящихся на демонстрацию. И решали, кто, где, в каком порядке будет идти и (поименно) кто чего понесет: знамя, транспарант, лозунг, портрет кого-нибудь из вождей. Наметили что-то всучить и мне, но парторг вмешался: нет, этому ничего давать нельзя, он то, что ему дадут, по дороге выкинет.

Помню, когда кто-то передал мне слова парторга, я был очень удивлен и обижен. Ну почему он обо мне так думает, разве я дал хоть малейший повод? И конечно, тогда, если бы мне доверили какой-нибудь портрет или знамя, я бы его один раз до места донес.

Но в принципе парторг разглядел во мне то, чего я сам в себе еще не видел. Всякая ритуальность меня всегда отталкивала, а позже я понял, что вообще нет таких символов и таких портретов, которые я хотел бы носить над единственной своей головой. Повторяю, мне не нравилась всякая ритуальность и советская могла бы быть одной из всех, если бы ее, как единственно благодатную, не навязывали изо дня в день до рвотного рефлекса. Даже в самых безобидных формах она была мне отвратительна. В 1969 году, накануне очередного пушкинского юбилея, мне сначала прислали бумагу, а потом позвонил все тот же незабвенный Виктор Николаевич Ильин с приглашением участвовать в возложении венка к памятнику Пушкину. Я отказался.

– Ну почему? – удивился Ильин. – Ведь это же дело, с вашей точки зрения, чистое. Ведь это цветы не Маяковскому и не Горькому.

– В том-то и дело, – сказал я. – К этим-то я еще пошел бы. А к Пушкину в такой компании, да мне перед ним самим просто стыдно.

Будучи человеком (в свое время) аполитичным и лишенным гражданских страстей, я был зачислен во враги советского режима, как иногда мне самому казалось, по недоразумению, но потом понял, что никакого недоразумения нет.

Я не делал политических заявлений, но от вида всей советской атрибутики: знамен, досок почета, вождей на трибуне мавзолея, свинарок на первых страницах газет, хоккеистов, фигуристов – меня тошнило и часто подмывало, говоря словами

Германа Плисецкого, «уйти в разряд небритых лиц от лозунгов, передовиц и голубых перворазрядниц…».

К тому же я был весьма невоздержан на язык и относился к тем, кто ради красного словца не только, по пословице, не пожалеет родного отца, но и себя тоже не побережет.

Есть люди, с которыми бороться почти бессмысленно. Человека, недовольного классово, можно перевести в другой класс, и он станет доволен, человека, несогласного идейно, можно подвигнуть на перемену идеи, человека, органически несовместимого, можно только убить.

Надежда Яковлевна Мандельштам однажды сказала о своем муже (цитирую приблизительно): «Неправильно говорят, что Мандельштам не хотел врать. Он хотел. Но не умел». Мандельштам с советской властью был органически несовместим, хотя и пытался иногда совместиться.

Я тоже иногда пытался, но никогда не мог.

Солженицын где-то пишет, что, повернись его судьба иначе, и он сам мог бы оказаться среди «голубых петличек», то есть гэбистов. Ему, конечно, виднее (хотя он себя, должно быть, в данном случае недооценивает), но я про себя могу сказать, что со мной подобного ни при какой погоде произойти не могло, и вовсе не потому, что противоречило бы моим убеждениям (убеждения всегда можно к чему-нибудь подогнать), а потому, что к такого рода службе я не приспособлен был от рождения. Один из ранних моих рассказов назывался «Кем я мог бы стать», ему же подошло бы название: «Кем я не мог бы стать». Я давно понял, что никогда не мог бы быть начальником, потому что стесняюсь кого-нибудь к чему-нибудь принуждать; никогда не мог бы быть хорошим подчиненным, потому что мой организм противится принуждению. Я никогда не был противником жизненного благополучия (мечта о котором, неосуществленная, у меня всегда сводилась к собственному загородному дому и огороду), но когда доходило до конкретной платы за это: поднять руку, поставить подпись, возложить венок, сказать комплимент начальнику, дружить с нужным человеком – от таких возможностей я всегда уходил, избегал, убегал.

«Er ist fluchtig [7]», – сказал обо мне один проницательный немец.

К политической или общественной деятельности я никогда не стремился. В интервью немецкой газете «Ди Цайт», данном мною незадолго до вызова в КГБ, я назвал себя диссидентом поневоле, но не столько в том смысле, что меня туда затолкали, сколько в том, что я с существующим режимом был просто несовместим [8] и диссидентство мое было неизбежным.

Впрочем, некоторые «диссидентские» поступки я совершил по причинам более низкого свойства, а именно по убеждениям.

Когда посадили Синявского и Даниэля и начался возврат к фашизму сталинского образца, я решил, что общество, если оно у нас действительно есть, должно оказать таким планам властей сопротивление, должно восстать, а поскольку я так думаю, то я должен за убеждение свое отвечать и быть среди восставших.

Что я в некотором смысле и сделал.

Но восстания не случилось. Процесс Синявского и Даниэля вызвал внутри страны хотя и острый протест, но среди очень ограниченного круга людей. Из двух-трех тысяч человек (на всю огромную страну), склонных к протесту, десяток посадили, сотню оставили на развод, а остальных так или иначе купили и успокоили: сидите, кушайте, думайте что хотите, но помалкивайте. Сталинские времена кончились, без разбору сажать не будем, но лезущих на рожон можем и пришибить.

Конкретно мое положение было такое. Пока я был членом Союза писателей, я чувствовал себя ответственным за все, что происходит в самом этом союзе, и за то, что им одобряется. Я встречал много людей, которые рассуждали примерно так. Я художник. Бог дал мне мой талант, чтобы писать книги (картины или оперы), а все остальное – политика. Я занят своим делом. Оно нужно не только мне, оно нужно стране, народу, миру, человечеству, я занят этим делом. А что, вокруг меня разве что-нибудь происходит? Да? Правда? Что вы говорите? Не знаю, не знаю. Мне некогда вдаваться в подробности, у меня дело, от которого отвлечься я никак не могу.

В таких рассуждениях есть своя правда. Художественное сочинительство и гражданские страсти не так-то просто между собой уживаются. Как только писатель любого масштаба, хоть даже и Лев Толстой, погружается в пучину общественной борьбы, это тут же сказывается на качестве им сочиняемого. Но и с холодным равнодушием к судьбе своих современников настоящий художник несовместим.

Когда пошла полоса арестов и Шемякиных судов над инакомыслящими, я никаких оправданий своему стоянию в стороне придумать не мог, поэтому (очень неохотно) примкнул к протестовавшим.

Но самая большая вспышка моей гражданской активности была связана с Солженицыным. Когда его исключали, когда его преследовали, я почти физически ощущал, что, оставаясь в Союзе писателей, по справедливости должен быть причислен к преследователям. Когда над Солженицыным сгущались тучи, когда начиналась газетная травля (а шум от нее многократно

усиливался «голосами»), я, возбужденный ею, за его жизнь иногда так боялся, как (читателю этих заметок придется поверить мне на слово) ни тогда, ни потом не боялся за свою собственную.

Вот когда его арестовали, когда я думал, что его неизбежно посадят, тогда и настал в моей жизни тот единственный момент, в который я готов был взять портрет Солженицына и выйти с ним даже в одиночку на Красную площадь.

Но власти распорядились с неожиданной для них разумностью: Солженицына не посадили, а вывезли в безопасную жизнь. Пар из котла выпустили, взрыва не получилось. Ко всеобщему, как я заметил, удовольствию. К моему тоже.

У меня это событие совпало с исключением меня из Союза писателей. Я еще кипел, кидался Солженицына защищать и даже возвел его в сан величайшего, но тут же понял, что хватил лишку, величайшему уже ничто не грозит, а вот о своей голове, какая бы она ни была, пора самой этой головою подумать.

Надо сказать, что еще и до этого какие-то высказывания и поступки Солженицына вызывали мое не только почтение, но и иронию, и поводов для нее хватало.

В тот вечер (13 февраля 1974 года), когда Солженицына арестовали, мы (Бенедикт Сарнов, Владимир Корнилов и я) были у него на квартире, а несколько дней спустя Виктор Некрасов затащил меня проведать собиравшую чемоданы Наталью. Само по себе посещение никакого рассказа не стоит, но стоит телефонный звонок из Цюриха.

Наталья Дмитриевна, поговорив с мужем, передала телефон Некрасову, тот (конечно, он был, как, впрочем, и я, не совсем трезвым) прокричал в трубку что-то ободряющее, затем сказал:

– Вот здесь Володя Войнович, он тоже хочет с тобой поговорить.

На самом деле я вовсе этого не хотел. Обязанность говорить общие слова меня всегда угнетает, а необщих у меня не было. Солженицын, видимо, тоже к разговору со мной не стремился, и, должно быть, по той же мне очень понятной, причине. Это нехотение он Некрасову как-то выразил, но Вика замялся, смутился (он-то человек деликатный) и сунул мне трубку.

Я в трубку сказал «алло» и задал глупый вопрос: «Ну, как вы там?» На что мне было тут же провозглашено: «Володя, мое сердце с вами, мое сердце в России».

Великие люди так и должны отвечать, но я не люблю великих высказываний, а к тем, которые заведомо рассчитаны на скрижали истории, отношусь с непочтительной насмешкой. Но великие люди всегда смеются последними, их великие высказывания, несмотря на реакцию отдельных невеликих

насмешников, все-таки на скрижали заносятся, и потом, в течение десятилетий, а иногда и побольше, школьные учителя, ссылаясь на свидетельства вроде данного, с благоговением вдалбливают скисающим от таких слов ученикам, как великий имярек никогда не порывал своей связи с Родиной и всегда повторял: «Мое сердце в России!»

Мы с Некрасовым пробыли в разоренной квартире недолго, после чего нам обоим в качестве почетных даров были вручены по две фотографии, в большом количестве отпечатанные и приготовленные для поощрения отважных посетителей опального жилища. Я эти фотографии немедленно кому-то отдал. Я храню (в беспорядке) снимки только очень мне близких или случайных людей, а изображения великих и культовых личностей не держу. Ни на стене, ни на столе я никогда не держал не только ни Ленина или Сталина, но и ни Пушкина, Толстого, Маяковского, Хемингуэя, Пастернака, Ахматову. Одно время я попытался приспособить к своей стене карточку Сахарова, но и она у меня не прижилась.

К моменту изгнания Солженицына культ его достиг уже высшей точки, и не только в соотечественной среде. В те дни приезжавшие в СССР иностранцы, за исключением некоторых, знали, что на этой территории находятся Советский Союз, Брежнев, КГБ, Солженицын, и это, кажется, все. Остаточные люди, которые здесь иностранцам встречались, подтверждали, что все так и есть.

Незадолго до того я встретился на каком-то приеме с новым корреспондентом «Вашингтон пост» Питером Осносом и спросил его, о чем он собирается здесь писать. Он сказал, что собирается писать о многом, в том числе о русской литературе, о которой на Западе люди не имеют ни малейшего понятия и думают, что здесь нет никого, кроме Солженицына. Я подумал, перебрал в уме известные мне названия книг и имена авторов и сказал, что, пожалуй, люди на Западе правы: здесь никого, кроме Солженицына, нет. Потому что он, единственный, совершенно пренебрегал всеми правилами писания (начиная с синтаксиса) и поведения, принятыми в советской литературной среде.

Но мое суждение имело все-таки претензию на некий парадокс. А многие иностранцы то же самое понимали буквально.

Когда настала очередь мне самому быть изгнанным из Союза писателей, многие иностранные корреспонденты сообщили, что я исключен оттуда как друг Солженицына. Не представляя себе того, что я могу быть интересен сам по себе. С этой, не заслуженной мною репутацией «друга Солженицына» я боролся долго, настойчиво, лет примерно пятнадцать и кое-каких успехов

за это время добился. Хотя и сейчас в публикуемых где-нибудь моих биографических данных указывается, что я претерпел много лишений, главным образом, за поддержку Солженицына.

С изгнанием Солженицына одна из причин моего внешнего «диссидентства» почти полностью отпала. Конечно, некоторых людей еще продолжали сажать, и это, говоря красиво, отзывалось в душе моей болью, но, не имея возможности остановить зло, я готов был успокоить себя тем, что я это зло не принимаю вообще. Мне казалось, довольно один раз в жизни сказать, что я отношусь к насилию с большим и неизменным отвращением, и это должно быть всем ясно даже тогда, когда я молчу.

Сказать это один раз и навсегда. А повторяться не обязательно.

В конце концов диссидентом может быть каждый и «другом Солженицына» тоже, а «Чонкина» без меня никто не напишет.

В постсоветской печати я читал о себе, и не раз, мнение, что все мое диссидентство было кратким и точно рассчитанным путем к отъезду. С людьми, которые это утверждают сознательно или по ошибке, я полемизировать не буду. Но тем, кому интересна правда, скажу, что меня исключили из Союза писателей 20 февраля 1974 года. А уехал я за границу (с советским паспортом) 21 декабря 1980 года. В течение прошедших почти семи лет мне много раз и довольно грубо намекали, чтоб я убрался. Я свое противостояние в заслугу себе не ставлю, и больше того, если бы можно было задним числом исправить биографию и не будь я связан со всеми своими родными и близкими, то уехал бы еще году в шестьдесят восьмом. И нисколько бы этого не стеснялся. Но в своей реальной неисправленной жизни я ни в шестьдесят восьмом, ни в семьдесят пятом об отъезде даже и помыслить не мог, а ситуация у меня оказалась совсем тупиковая.

В литературных делах я до поры до времени проявлял ограниченную склонность к уступкам, но от меня потребовали не уступок, а безоговорочной капитуляции с полным отказом от всех моих литературных амбиций. Этого я им уступить не мог. Никак и ни при каких обстоятельствах. Как тот гонец из пушкинской «Полтавы»: «За шапку он оставить рад коня, червонцы и булат, но выдаст шапку только с бою и то лишь с буйной головою».

Я пошел на разговор с кагэбэшниками, потому что они оставались единственной инстанцией, через которую я мог бы обратиться к государству и оно ко мне. Они были парламентерами, посланными в осажденную крепость. Шансов на безоговорочную капитуляцию крепости у них не было, но на разумное решение в допустимых пределах – были. Я не просто

хотел, я жаждал покоя и ради него готов был отдать им, фигурально говоря, «коня, червонцы и булат», оставив себе только «шапку». Я был согласен уйти из общественной жизни, поселиться где-то в провинции, писать, но не печататься ни здесь, ни там, не давать интервью и не мозолить глаза лет пять или даже десять (денег, которые у меня к тому времени были на Западе, на десять лет здешней жизни хватило бы). Мне казалось, что у них не было никакого выхода, кроме как согласиться на предложенный компромисс. Сдаться им полностью я уже и не мог даже с выдачей «буйной головы». Первая книга «Чонкина» вышла, существует, и отменить ее существование не под силу даже КГБ. Как меланхолически и грубо выражалась, глядя на свою разбушевавшуюся малолетнюю дочь, одна моя знакомая: «Обратно не засунешь».

Мне мой план казался разумным, реалистичным и приемлемым даже для них (не кагэбэшников, а властителей, стоявших за ними). Поэтому я и решил встретиться с Петровым и Захаровым еще раз.

Гостиница «Метрополь»

11 мая я позвонил Петрову.

– Владимир Николаевич? – обрадовался он. – Значит, решили встретиться? Ну, давайте. Одну минутку, сейчас я определюсь. Допустим, в четыре часа в «Метрополе». Вам удобно? Очень хорошо. Вы эту гостиницу знаете? Не очень? Ну, чтоб вы там не путались, давайте встретимся у памятника Марксу. Договорились? Вот и хорошо. А как вообще настрой, Владимир Николаевич?

Сначала мне не понравилось слово «определюсь», а слово «настрой» я почему-то так не люблю, что оно вызвало у меня очень неприятное предчувствие.

– Увидимся, поговорим, – сказал я.

Без пяти четыре я на площади Революции. Один. Ира на этот раз со мной не пошла, поскольку дело как бы уже рутинное. Солнечно, жарко, торгуют цветами. Очередь за пломбиром по 19 копеек. Очередь к тележке с газировкой. Голуби путаются под ногами. Я, между прочим, забыл у этого типа добиться, кто он все-таки есть. Да вот еще проблема – узнаю ли я его. У меня очень плохая память на лица. Помню, правда, что он высокий, смуглый, кудрявый, в очках.

Должен узнать. Выскажу им свои предложения и погляжу, что будет дальше.

Ира просила, когда буду возвращаться, зайти в хозяйственный магазин, там, на Кузнецком Мосту, рядом с приемной КГБ, купить нафталин. Она в прошлое воскресенье, ожидая меня, видела нафталин, но тогда было не до него.

В такую жару хорошо бы достать пива. У меня есть сертификаты (за шведское издание я их еще получил, но на этом лавочку прикрыли), на обратном пути можно зайти в «Березку» на Большой Грузинской, купить несколько банок.

Чтобы попасть к памятнику, надо пройти мимо «Метрополя». Смотрю: возле гостиницы мечется чем-то взволнованный рыжий Захаров. Кому-то кивнул головой, кому-то махнул рукой. Резко повернулся, наткнулся на меня, смутился, сунул* руку, тут же выдернул и со словами «Там Николай Николаевич» (не сбился в имени-отчестве) кинулся к проспекту Маркса.

Тут бы мне насторожиться, а я – ничего. Вдруг смотрю: мимо, обогнав меня, туда же, к проспекту, идет Николай Николаевич. Спину выгнул и головой двигает влево-вправо. Оказывается, я узнал его даже сзади. Идет и кому-то как-то сигналит. И вот сзади он мне так не понравился, что не могу даже и передать. Спина

мне его сейчас говорила больше, чем он сам там, на Лубянке. Он шел, чем-то выделяясь из толпы. У него был вид блатного, который вышел «на дело». Дошел до угла и через голову тычет большим пальцем в сторону Маркса, а из-за угла вылетает Захаров, показывает Петрову на меня, оба поворачивают и идут мне навстречу, на ходу торопливо прилаживая к собственным лицам человеческие выражения.

(Меня потом разные люди спрашивали, почему, заметив какие-то приготовления, я не сбежал. Мне такое и в голову не пришло. А надо было если не сбежать, то помедлить и посмотреть, что за переполох.)

Здороваемся. Поднимаемся в лифте на четвертый этаж. Молча проходим мимо дежурной. Идем по роскошному коридору с хорошо натертым темным паркетом.

– Ваши герои, – оборачивается ко мне Петров, – в такую обстановку еще не попадали?

– Пока не попадали. – Словом «пока» я намекаю, что могут еще попасть.

(И он, как я потом понял, намекал на то же.) Входим в номер 480. Большая комната. Посередине стол со стульями. Справа от дверей, ближе к окну два глубоких кресла спинками к стене. Перед ними журнальный столик. (Мастера спецдизайна обдумывали, как расставить.) На стене между креслами и дверью высоко – картина. В левом от дверей дальнем углу – ниша, наполовину задернутая красной портьерой, там виден угол кровати.

– Куда сядем? – Петров пошарил глазами. – Ну, вот, пожалуй, сюда.

Показал мне на одно кресло, сам сел в другое, слева от меня. Я достал сигареты. Захаров принес пепельницу, придвинул стул и сел по другую сторону столика, ко мне лицом, полным внимания.

– Ты, кажется, тоже куришь? – спросил его Петров.

– Да, курю, – сказал Захаров и вынул из кармана нераспечатанную пачку «Столичных», но я не помню (и это важно!), чтобы он распечатал ее и чтобы хоть раз за все время этого нашего разговора закурил. Хотя прошлый раз курил очень много.

Когда он показывал сигареты, я заметил, что у него на левой руке возле часов болтается прямоугольная штучка, что-то вроде брелка, но никак ею не заинтересовался.

Разговор начался с пустяков. Петров сказал, что в Москве жарко, и спросил, не собираюсь ли я на дачу. Собираюсь.

– Будете там работать?

– Буду работать и разводить огород.

– Как этот ваш селекционер? – засмеялся Захаров.

– Примерно так.

– И что же вы там выращиваете? – спросил Петров.

– Да так, всего понемножку. Огурцы, лук, петрушка.

– Да. Ну, редиска, – заметил он мимоходом, – у любителей не всегда вырастает…

Самодовольно переглянулся с Захаровым и покосился на меня, предвкушая мое неизбежное изумление его осведомленностью о моих огородных неудачах. Но изумления не последовало (хотя, будь я похитрей, может, и стоило ему подыграть). О том, что у меня редиска не вырастает, я недавно говорил кому-то по телефону, а что телефон прослушивается, я не сомневался.

– Между прочим, – сказал вдруг Петров, поднимаясь, – посмотрите, это очень интересная картина. По-моему, это ваши герои, а?

Я тоже (прошу читателя сохранить в памяти этот момент) поднялся, подошел к Петрову и задрал голову (простофиля). На картине были изображены мальчики, тянувшие сетью рыбу.

– Это мои герои? – удивился я.

– Ну, деревенские мальчишки, – объяснил Петров. – Мне кажется, это что-то в вашем духе. Это у них бредень, что ли?

– Не знаю, я не рыбак, – сказал я.

Мы сели на свои места, я закурил и сказал, что долго думал о нашем предыдущем разговоре, не знаю, что все это означает, но если это не ловушка и не провокация (Захаров при этом, конечно, схватился за голову), а мои собеседники всерьез думают о том, как вернуть меня в советскую литературу, то я готов предложить им реальный план. Для начала пусть будет издан сборник моих избранных повестей и рассказов на основе того, что было когда-то в «Новом мире», с включением повести «Путем взаимной переписки». Правда, повесть напечатана в «Гранях», но ее вполне можно опубликовать и здесь. В свое время ее чуть не напечатал «Новый мир», где она была даже набрана.

Объясню читателю этих строк, что, будь мое предложение обсуждено всерьез, я на подробностях настаивать бы не стал. Напечатают сборник или не напечатают, мне было в общем-то почти все равно. Главное было, чтобы оставили в покое.

– Хорошо, – согласился Петров. – А где издать вашу книгу? В каком издательстве?

– В любом, – сказал я.

– Что значит – в любом? Давайте подумаем, где у вас лучше связи.

– Связи есть у вас.

Он не согласился и продолжал настаивать на том, чтобы я назвал свои связи, что меня несколько насторожило. Потом спросил, а как быть с Союзом писателей? Я сказал: «А что Союз писателей? Он меня меньше всего интересует», Петров возразил, что без возвращения в Союз ничего нельзя сделать, и предложил, чтобы я позвонил С.С. Смирнову (в то время первому секретарю Московской писательской организации). Я сказал, что никому звонить не буду и к восстановлению в союзе не стремлюсь. Тем не менее Петров стал допытываться о моих связях среди руководителей союза. Я от прямого ответа уклонился, хотя, правду сказать, никаких связей у меня там не было. Он опять спросил, кого я знаю из талантливых молодых писателей – он хочет им помочь. Я повторил, что никого не знаю.

Эти вопросы, думаю, задавались мне не в расчете на то, что я кого-то действительно выдам, а чтобы меня запутать и потом каким-нибудь случайно упомянутым именем шантажировать. А впрочем, не исключаю, что при их специфическом воображении им мерещилась какая-то тянущаяся за мной сеть, которую почему бы не вытянуть попутно основному заданию?

Разговор чем дальше, тем больше принимал зловещий характер. Тем не менее я старался объяснить им реальную ситуацию в литературе и в стране и даже выразил готовность составить объективную записку, но с условием, что она будет передана… «вашему шефу», сказал я, имея в виду Андропова. Стыдно признаться, но я тогда еще верил слухам, что Андропов из всех членов Политбюро наиболее умеренный и трезвый политик. Потом я это мнение резко переменил. Потом я думал (и сейчас думаю), что это был человек примитивного полицейского ума и несложного душевного склада, а может быть, даже и с некоторым психическим сдвигом, о чем говорят его стишки и статуя Дон Кихота в прихожей (к тому интерьеру Гиммлер или Торквемада подошли бы как раз). Никаким государственным мышлением он не обладал и не случайно свои реформы в области управления государством ограничил ловлей в банях намыленных нарушителей трудовой дисциплины.

– Очень хорошо! – приветствовал мои намерения Захаров. – Записку вашу мы непременно передадим.

– Да, – сказал Петров, – такой документ, безусловно, необходим. Но мне лично хотелось бы, чтобы в этом документе вы рассказали подробно, каким именно образом вы выходите на связь с иностранными корреспондентами, как эти связи развиваются…

Этим предложением он поставил меня на место, я вспомнил, с кем имею дело, и понял, в какую смешную и жалкую ситуацию

сам себя загнал. Петрову было, может быть, неизвестно, но я-то знал, что у него и у меня были предшественники по разговорам такого же рода. Кто-то из сыщиков прошлого (кажется, это был знаменитый Судейкин) на предложения допрашиваемого нигилиста по коренному переустройству России говорил приблизительно так: «План ваш мы непременно рассмотрим, а пока будьте любезны составить список всех ваших сотоварищей, их фамилии, клички, приметы и адреса». У меня у самого в одной из незаконченных глав «Чонкина» уже написан был эпизод, где селекционер Кузьма Гладышев, оказавшись в оккупации, приходит к немецкому коменданту с предложением обеспечить всю германскую армию овощами путем повсеместного распространения ПУКСа (теперь этот гибрид переименован селекционером в ПУКНАС, то есть ПУТЬ К НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМУ). На что комендант обещает обязательно предложение обсудить с высшим начальством, но пока желательно, чтобы господин ученый помог выявить в местности своего проживания партизан, жидов и коммунистов.

– А-а, – сказал я Петрову, – я думал, что с вами всерьез можно говорить.

– Именно всерьез, – подтвердил Петров. – Если вы хочете… то есть хотите нарисовать объективную картину, то для полноты ее…

– Ладно, – сказал я, – это, видно, разговор бесполезный.

– Нет, почему же. Нас сегодняшнее положение очень волнует.

– Не похоже, – не поверил я. Но все же стал что-то объяснять. В общем и на конкретных примерах. Стараясь ограничиться положением в литературе.

– Вот, представьте себе, один писатель принес в редакцию рукопись…

– Какой писатель? – перебивает Петров.

– Неважно. Вот он приносит рукопись…

– Как его фамилия?

– Войнович.

– А-а. – Петров теряет интерес к тому, что случилось с рукописью и с писателем.

Заходит разговор о Литературном фонде. Петров интересуется, член ли я этой организации. Я сказал: нет.

– Вам сообщили, что вы исключены? – Он мне опять дает понять, что ему про меня все известно, а я опять понимаю, что ему известно только то, что подслушав Кому-то недавно я говорил по телефону о моем необъявленном исключении из Литфонда. Интересно, он думает, что я дурак или сам дурак?

– Нет, не сообщили.

– А откуда ж вы знаете?

– Мне одна женщина сказала.

– Какая женщина?

– Которая там работает.

– А как ее фамилия?

– А зачем вам это знать?

– Ну как же? Нам же нужно знать, можно ли доверять ее словам.

– Вы можете не доверять и проверить сами. Позвоните туда и спросите.

– Нам самим неудобно звонить. Знаете, сразу пойдет слух, что вами интересуется КГБ.

– У вас там есть свои люди, вот вы им и позвоните.

– Какие свои люди? – изумляется невинный Захаров.

– Ну есть. Один, – говорит Петров, как бы выдавливая из себя признание.

– Вот у этого одного и спросите.

– Это тоже неудобно, он может разболтать.

– Ну, я думаю, вы как разведчики уж куда-куда, а в Литфонд проникнуть сумеете.

Тут я посмотрел на Захарова и заметил, что он неестественно держит руки, вытянув их вперед и сжав кулаки. Глянув на его руки, я увидел, что предмет, вначале принятый мной за брелок, вывалился у Захарова из рукава и болтается, как мне показалось, на двух проводах.

– А это что? Микрофон? – спросил я и протянул руку, чтобы микрофон этот вырвать, но Захаров руку успел отдернуть, а с Петровым (внимание!) случилось что-то неожиданное. Он впал вдруг в какое-то странное состояние, захрипел, задергался, стал быстро и часто кивать головой и бормотать:

– Мы с вами откровенно, вы с нами не откровенно, мы с вами откровенно…

И так много раз. Я от неожиданности напрягся, смотрел на него, а он все бормотал одно и то же: «Мы с вами откровенно, вы с нами не откровенно», вдруг завращал глазами, словно гоголевский колдун из «Страшной мести», стал приподниматься, тянуть ко мне руки с ужасной гримасой, возникшей будто от нехватки дыхания, прохрипел: «Хочешь, я тебе расскажу про свою семью?»

И тут же обмяк и сел и стал, словно только проснувшись, приходить в себя.

– Не надо про семью, – сказал я, потрясенный только что увиденным. – Скажите мне лучше, кто вы такой?

– Ну, я начальник отдела, – сказал он уже совсем

обыкновенным голосом.

– Ответственный сотрудник комитета, – добавил Захаров почтительно.

Я посмотрел на них обоих. Они сидели на своих местах, в той же комнате, ничего не изменилось. Как будто ничего и не было… Но что-то все-таки было. Я испытывал ощущение, словно я, или они, или я и они вместе побывали в каком-то ином измерении, а теперь вернулись и не можем вспомнить, о чем же шла речь до того.

О чем бы она ни шла, я вдруг понял, что наш разговор затянулся и никакого смысла не имеет.

– Ну так вот что, – сказал я решительно и намереваясь уйти. – Ни о какой откровенности нечего говорить. И не надо мне совать в нос микрофон.

– Да какая тебе… – Я посмотрел на него и хотел сказать, чтоб не тыкал, но он сам поправился, – вам разница, где микрофон – в рукаве или в стене. Вы же понимаете, что эта комната оборудована и что тут везде микрофоны.

В словах его был резон. Я ведь не сомневался, что меня записывают. Что ж, своего образа мыслей я не скрываю. (Я тогда и в самом деле считал своим долгом говорить всем попадавшимся на моем пути функционерам «правду в глаза», хотя толк от этого был такой, как если бы я то же самое говорил столбу. Потом я думал, что все мои старания говорить им правду были большой глупостью. Им, партийным, союзписательским, кагэбэшным функционерам, поощрявшим ложь, надо было врать в глаза во всех случаях и как можно больше, чтобы они в этой лжи потонули. При этом надо четко видеть и не переходить границу, где за ложью им начинается обман самого себя.)

Я остался (а интересно, что было бы, если б попробовал уйти?), и разговор наш продолжился.

Поговорили о том, что у каждого писателя свой творческий метод.

– Вот Дудинцев, например, – сказал Петров, – пишет так. У него к стене прибиты такие карманы. Напишет несколько листов – кладет в один карман. Напишет еще – кладет в другой. А вы не так пишете?

– Нет, – говорю, – я не так. Мой творческий метод состоит в том, что я свои листки прячу гораздо дальше. Так далеко, что, придя ко мне, вы ничего не найдете. После конфискации романа Гроссмана многие писатели овладели подобным творческим методом.

На самом деле то, что я говорю – чистый блеф. Подпольщик из меня не получается, я никогда ничего не умел таить и, видимо,

не научусь. Все мои рукописи лежат у меня на столе. Иногда я пытаюсь их куда-нибудь спрятать, но потом забываю куда. Иные куски отдаю на хранение знакомым. А потом забываю, что кому отдал. А поскольку и они тоже забывают, то, может быть, и сейчас клочья моих рукописей заросли паутиной у кого-нибудь под кроватью.

Петров вдруг, развернув кресло, садится лицом ко мне.

– Вот представьте себе, – говорит он. – Вы секретарь Союза писателей, а я писатель Петров.

– Представляю. Сейчас таких писателей очень много.

– Почему вы так говорите? – оскорбился Захаров то ли за своего начальника, то ли за Союз писателей.

Но Петров не обиделся.

– Вот вы узнали, что я, писатель Петров, печатаюсь в «Посеве». Вы меня вызываете к себе…

– Да не буду я вас вызывать. Печатайтесь, где хотите…

Между тем со мной происходит что-то необычное. Мне кажется, я плохо слышу своего собеседника, переспрашиваю, напрягаюсь. Разговор явно идиотский, но я почему-то не пытаюсь его прекратить. Петров пристально в меня вглядывается (для того, наверно, и развернулся), словно пытается что-то определить по моему виду. Но вот, может быть, определил, поставил кресло на место и опять ленивый разговор о том о сем и, в частности, о КГБ.

Многие к КГБ относятся с подозрением. Где что случится, валят на КГБ. Про Виктора Попкова тоже говорили, что его КГБ убил. Вы, конечно, слышали эту историю? Как? Про Попкова? Не слышали? Ну, как же, как же… Как убили художника Попкова не слышали? Вся западная пресса шумела (неужели вы пропустили?): чекисты убили левого художника (а он, между прочим, никакой не левый). И вот как будто чекисты его убили. А на самом деле как получилось? Попков пьяный ловил такси. Остановил машину, полез внутрь, а там инкассар, и тоже «под мухой». Он с перепугу выстрелил. Пуля вошла сюда (Петров откинул голову и, косясь на меня с вожделенной улыбкой, показал пальцем на точку между подбородком и кадыком) и вышла (стал как бы вытягивать что-то невидимое из затылка) отсюда. А потом говорят – мы убили Попкова. Чуть что – и на нас. Мы убили. А это не мы (и стал мне при этом подмигивать: мы, мы, мы).

Речь зашла опять о ВААПе. Я сказал:

– Мне ваш ВААП не нужен. У меня есть свой адвокат, американец, который мои права достаточно хорошо (это я по незнанию сильно преувеличил) защищает.

– А у вас с вашим адвокатом постоянная связь? – поинтересовался Петров.

– Прерывистая.

– Прерывистая? – Он так обрадовался, будто именно этого слова только и ждал. – И наша жизнь тоже, знаете, штука очень, очень (быстро закивал головой, замигал, перекашивая лицевые мускулы) прерывистая… да, прерывистая. Впрочем, – затуманил угрозу философским раздумьем, – что наша жизнь по сравнению с вечностью? Только миг. Да! – встрепенулся. – А вы знаете, что нам приказано вас предупредить?

– Так чего же вы дурака валяете? Предупреждайте.

– Но мы же хотим по-хорошему.

– Если вам приказано по-плохому, выполняйте приказ. В разговор вмешивается Захаров:

– А я вот, хи-хи, насчет «Чонкина». По-моему, это очень антисоветская книга. Как-то у вас там, хи-хи, все странно. Записка «Если погибну, прошу считать коммунистом» оказывается вдруг, хи-хи, под копытом у лошади.

– А, значит, вам все-таки не нравится, – говорю я. – Так бы и сказали. Я ведь и рассчитывал, что вам не понравится.

– Нет, вы знаете, как-то все-таки выпустить такую, хи-хи, книгу к тридцатилетию Победы…

(Интересно, он в самом деле думает, что я специально и именно к тридцатилетию, а не к двадцати девяти– или тридцатиоднолетию выпустил эту книгу?)

Угрозы сменяются примирительным тоном. Несмотря ни на что, Петров надеется, что во мне (ну, пусть на самом донышке) осталось что-то советское.

– Вы же были рабочим. Не то что там какая-то гнилая (не нашел эпитета посвежее) интеллигенция. Может быть, вам еще повариться в рабочем коллективе?

– Хотите приставить меня к станку или к тачке?

– Да что вы! – восклицает Захаров. – Думаете, хи-хи, мы хотим воспитывать вас по китайскому методу?

– Да по китайскому методу надо, чтобы еще воспитуемый согласился.

– Одного не могу понять! – всплескивает руками Петров. – Ну было бы вам семьдесят лет, когда жизнь, по существу, закончена [9]. Но кончать ее в сорок три… Нет, этого я не понимаю.

Его слова проходят мимо моих ушей. Смысл их я осознаю потом. А пока что-то говорю, спорю, иногда сбиваюсь на попытки убедить моих собеседников в полной безвредности своих писаний, другой раз говорю что-нибудь противоположное.

Пока я говорил, Захаров, чем-то озабоченный, выскочил за

дверь (интересно, зачем?), но вскоре вернулся и сел на прежнее место и заерзал нетерпеливо.

Я посмотрел на него, посмотрел на Петрова и вдруг совершенно четко осознал, что передо мной сидят два истукана, два неодушевленных предмета, исполняющих функцию, на которую их направляет руководящая ими рука. Они – топор, которым рука может колоть дрова или орехи, или забивать гвозди, или отрубить голову. Убеждать в чем бы то ни было бессмысленно, топор убеждениям не поддается. Но зачем же я сюда пришел? И зачем они? Если они вообще ничего не приемлют, то в чем состояла их задача?

Я посмотрел на часы и удивился. Было ровно семь. То есть я уже здесь три часа. А мне показалось – минут сорок, не больше. Я встал. Они тоже. Опять спросили меня, поеду ли я на дачу и что буду выращивать. Я сказал: ПУКС. Они хихикали и предлагали позвонить через две недели. Я соглашался, жал им руки, хотя сам удивлялся, зачем это делаю. Потом я направился, но не к дверям, а к нише, наполовину задернутой красной портьерой.

– Нет, нет, не сюда! – испугался Петров и повернул меня к дверям, которые возникли передо мной, как из тумана.

После «Метрополя»

В странном состоянии я вышел в коридор и опять направился в сторону, противоположную выходу. Дошел до стеклянных дверей. Они были закрыты, но я долго стоял перед ними, пытаясь понять, как сквозь них проникнуть (и те, кто за мной наблюдали, наверное, были мною довольны). Наконец сообразил, что стремлюсь не туда, повернул обратно, прошел мимо дежурной, посмотрел на нее, любопытно было, как она реагирует на выходца из номера 480. Лица ее не разглядел. Оно как-то расплывалось, но меня это не удивило.

Я спустился вниз и вышел на улицу.

Мне было плохо. У меня все болело: голова, сердце, ноги. Икры ног словно окаменели. В таком состоянии надо было сразу ехать домой. И я бы поехал, если бы хоть чуть-чуть понимал свое состояние. Я его не понимал, но помнил: Ира просила купить нафталин. Обычно ее поручения тут же вылетают у меня из головы. Сейчас же мне казалось, я не могу вернуться без нафталина. С тупым автоматизмом я действовал по заранее намеченной программе.

Я шел, как глубокий и слабый старик, наклонившись вперед и еле переставляя ноги. Пересек проспект Маркса по подземному переходу. Вышел на Кузнецкий мост и повернул направо, к Лубянке. Там, чуть не доходя до главного здания КГБ, маленький хозяйственный магазин.

Я видел только то, что было прямо передо мной, но прямо оказывалось как раз то, что мне нужно. Магазин, нафталин – восемь копеек пачка. Долго множил восемь на четыре. Выйдя из магазина, вспомнил про «Березку» и пиво. Сейчас мне было не до пива, но я опять выполнял программу.

Такси не было, и я пешком – все так же, еле переставляя ноги, – поплелся на улицу Горького. В троллейбусе доехал до Белорусского вокзала. Пошел в «Березку». Она закрыта. Где-то еще пива тоже не оказалось (да и откуда ему быть, если время было около восьми вечера?).

Как добрался домой, точно не помню, кажется, на метро. На расспросы Иры отвечал односложно (она, занятая ребенком, сначала ничего не заметила). Чувствуя, что мне как-то не по себе, я включил телевизор. Показывали хоккей. Я стал смотреть, но не понял, кто, куда и зачем бежит. Я отметил, что ничего не понимаю, но не испытал при этом ни досады, ни недоумения. Выключил телевизор, пошел к Владимиру Корнилову, с которым мы тогда дружили. Он и его жена Лариса, несмотря на то что в

комнате было полутемно, сразу обратили внимание на мой необычный вид. На вопрос «Что случилось?» я ответил: «Ничего». Тут к ним зашла соседка, и я ушел, ничего не рассказав. Впрочем, на какой-нибудь внятный рассказ вряд ли я был способен.

Вернувшись домой, я лег спать и по привычке взял почитать перед сном какую-то книгу. Не мог ничего понять. Взял свою собственную книгу, и в ней ничего не понял. Видел отдельные слова, но не улавливал смысла фразы.

Будучи человеком от природы здоровым, я обычно никаких лекарств не принимал, а тут залез в домашнюю аптечку, принял две таблетки элениума – не помогло.

В первом часу ночи я вдруг вспомнил некоторые высказывания Петрова, и только сейчас до меня дошло их значение. Ира спала с дочкой в другой комнате. Я пошел, разбудил ее, попросил выйти на балкон и здесь сказал: «Ты знаешь, они обещали меня убить». Но своего состояния и сейчас оценить не мог.

Оля проснулась, заплакала, и Ира ушла к ней. Я лег и начал осознавать, что со мной происходит что-то Необычное. Стал записывать свои подозрения.

«Что-то мне нехорошо. У них есть какой-то способ убивать так, что человеку становится плохо с сердцем. Так, говорят, убили Бандеру».

(Знаменитый украинский националист Степан Бандера в 1959 году был найден мертвым на пороге своей мюнхенской квартиры. Вскрытие показало – инфаркт. За два года до того, и тоже от инфаркта, умер соратник Бандеры Лев Ребет. Кажется, у кого-то были сомнения, но медицинская экспертиза в обоих случаях не нашла ничего, кроме инфаркта. Несколько лет спустя в немецкую полицию явился некий Богдан Ста-шинский (подвигнутый на то своей невестой Инге Поль) и признался, что это он по заданию КГБ убил и Ребета, и Бандеру из специального пистолета, стреляющего синильной кислотой. Оба раза сработано было чисто: выстрел в лицо, инфаркт, а следы синильной кислоты улетучились в течение нескольких минут. Вскоре после этого Сташинский был вызван в Москву, и тогдашний шеф КГБ Александр Шелепин («Железный Шурик») лично вручил герою орден Красного Знамени «за выполнение особо важного задания». А потом Инге Поль, любовь, явка с повинной и суд в Карлсруэ. И если бы не это все, кто бы сегодня знал, что Ребет и Бандера не умерли своей смертью?)

По сюжету заключенное в скобки следовало бы поставить в конец рассказа, но мне важно показать и то, что я в своих рассуждениях стал сразу на правильный путь.

С часу ночи до пяти минут третьего я сделал девять записей, отмечая свое состояние, принятые лекарства и свои соображения, в некоторых случаях, может быть, не столь важные.

Был дерганый пульс, который я не мог сосчитать. Болела голова. Принял еще две таблетки элениума. Потом две таблетки беллоида, думая, что это тоже успокаивающее лекарство (мне потом объяснили, наоборот – возбуждающее).

Заснул после трех. Проснулся в пять. Пульс был 140 (теперь уже точно). И это после сна, пусть недолгого.

До восьми я провалялся в постели, потом встал. Чувствовал себя мерзко, но что-то соображал. Сел за машинку и напишет открытое письмо Андропову. Написал более или менее связно, но только о вызове, угрозах и странном бормотании Петрова после разоблачения микрофона. Закончил, подражая некоторым образцам, в патетически-горделивом тоне, что, мол, Чонкин уже пошел по свету и всем вашим инкассаторам, вместе взятым, его уже не победить (что, впрочем, правда). Написал, что этим письмом обращаюсь не только к Андропову, но и за защитой к мировой общественности и к писателям Генриху Беллю, Артуру Миллеру, Курту Воннегуту, Александру Солженицыну и еще к кому-то.

Днем, занятый сочинением и распространением письма, на своем состоянии не сосредоточивался.

Вечером на квартире Сахаровых по моей просьбе была созвана пресс-конференция (я боялся, что дома мне ее провести не дадут). Я прочел письмо Андропову, а потом подумал и рассказал о своих подозрениях насчет отравления. Но сам в своих доводах сомневался, говорил неуверенно, а корреспондентам и подавно странно все это было слышать. Тем более что у меня не было никакого правдоподобного объяснения, как конкретно это могло случиться.

Я предположил, что предмет, принятый мною за микрофон, был чем-то другим, и попытался описать его. Небольшая коробочка, по-видимому, из пластмассы. Приблизительные размеры: 25 х 20 х 5 мм. Боковые стенки зеленого цвета, пластинка, обращенная ко мне, – кремового. В пластинке несколько рядов мелких отверстий. Два провода (так мне запомнилось, но потом я в этом усомнился) – зеленый большего сечения, белый – меньшего. Мои подозрения: коробочка не микрофон, а распылитель двух газов, подаваемых по двум шлангам.

Журналисты смотрят недоверчиво. Я бы на их месте смотрел так же. При этом все же думаю: в оборудованной для специальных операций комнате зачем прятать микрофон в рукаве? А если и

прятать, то для чего же такой большой? Современный микрофон может быть величиной со спичечную головку, у меня у самого был такой. Неужели у них нет? (Потом знающие люди говорили, что могло и не быть. У них ограничения в бюджете, бухгалтерия и финансовые ревизии, поэтому техника используется и устаревшая.)

Из всех присутствовавших на пресс-конференции, кажется, мне поверил один только Сахаров. Когда я сказал, что пробыл в «Метрополе» три часа, а мне показалось, что я был там не больше минут сорока, Андрей Дмитриевич предположил, что было выпадение памяти.

13 мая я все еще чувствовал себя плохо. Болела голова, закладывало уши, в ногах не проходило ощущение тяжести. Днем смерил пульс – 140. Выпил что-то сердечное, лег.

Видели меня в те дни Владимир Корнилов и его жена Лариса Беспалова, Бенедикт и Слава Сарновы. Сарнов сам мерил мне пульс – была та же цифра.

Вечером 13 мая пришли ко мне два медицинских светила – мой друг (ныне покойный) Борис Шубин, очень хороший врач, доктор наук, и его товарищ, профессор (которого и сейчас не назову, поскольку не знаю, согласен ли он на это). Оба они большие специалисты, но не того профиля. Борис – хирург-онколог, а его друг – гематолог.

Оба выслушали мой рассказ внимательно, и оба не поверили. Предположения насчет газа отмели сразу.

– А они что же, в противогазах сидели?

– Нет, но, может быть, они приняли какое-то противоядие.

– Это невозможно. Кроме того, газ непременно подействовал бы в первую очередь на дыхательную систему. Какие-нибудь неполадки с дыханием были?

– Не было.

– Галлюцинации?

– Нет. Не считая того случая, когда Петров кивал головой, бормотал и таращил глаза. Мне тогда показалось, что он сошел с ума, а может быть, это со мной что-то случилось?

– Тошнота, рвота были?

– Не было.

– Ты там не пил, не ел?

– Нет.

– Сигареты курил свои?

– Свои.

– Володя, – сказал Борис встревожено, – поверь мне, того, что ты рассказываешь, просто не могло быть. Было жарко, ты разволновался, у тебя поднялось давление, от этого мог

произойти какой-то сдвиг в сознании. Микрофон тебе показали нарочно. Они намеренно действовали на твою психику. Ты будешь говорить об отравлении, а они объявят тебя сумасшедшим. Вполне возможно, они только этого и ждут. Все же он меня простукал, прослушал, посчитал пульс.

– Ну, есть, конечно, некоторая тахикардия. Это от волнения. Ты и сейчас волнуешься.

– Я волнуюсь оттого, что ты мне не веришь. Там я не волновался. Наоборот, я был идиотски беспечен. Пойми, мне никогда ничего не казалось.

– Но и таких случаев у тебя никогда не было.

Случаи у меня в жизни были разные, но это ничего не значит, потому что они происходили в другом возрасте и в иной ситуации.

Так мне Шубин и не поверил.

И я стал сомневаться. Может, и правда показалось. Меня, как и других общественно известных людей, время от времени посещали (и сейчас посещают) больные люди. Этих больных, каждого, травят газами, душат запахами, пронизывают невидимыми лучами. Один даже показывал мне свинцовые пластины, которыми он заслоняет от облучения сердце и другие важные органы (деталь, использованная в «Шапке»).

(Между прочим, среди таких ходоков был и один очень известный ныне человек. Называть его не буду, потому что не хочу помогать его политическим противникам. Он мне тоже рассказывал о попытках КГБ его уничтожить путем подмены жены, подбрасывания дохлой курицы и опять же с помощью воды, еды, гипноза, газов и излучений. КГБ, конечно, относилось к нему так же плохо, как и ко мне, а может, и похуже, поскольку он был настоящий политический борец, а не липовый, вроде меня. Но все же теперь, видя на экране телевизора его в роли видного госдеятеля, я вспоминаю тогдашние его приходы ко мне и думаю, что, если бы это от меня зависело, я бы внес во все конституции требование – кандидатов на высшие государственные посты и кандидатов в депутаты всех уровней допускать к участию в предвыборной борьбе только по предъявлении справки от психиатра.)

После ухода Шубина и его товарища я усомнился в своих ощущениях, накапал себе побольше сердечных капель и лег спать.

Утром проснулся успокоенный. Да, конечно, мне показалось. И неудобно – поднял панику, заставил Шубина и его друга тащиться черт-те откуда.

Посчитал пульс. 140. И голова болит. И в ногах тяжесть.

Доктор Аркадий Новиков

Теперь надо рассказать о посещении еще одного врача. В моем описании семьдесят пятого года я изобразил поликлинику, старичка профессора. Я вынужден был путать следы, чтобы» не подвести доктора, который меня на самом деле осматривал. Теперь я его подвести не могу. Так вот, это был не старичок, а совсем наоборот, молодой человек, лет тридцати с небольшим. Звали его Аркадий Новиков, и мне рекомендовали его как выдающегося, несмотря на возраст, диагноста.

С Владимиром Корниловым я поехал к Новикову, и не в больницу, а домой, где он практиковал частным образом. Помню, он меня удивил своим возрастом и необычной для возраста дальнозоркостью – глаза за стеклами очков были очень большие.

Он предложил нам с Корниловым сесть, положил перед собой несколько листов бумаги и сказал:

– Прежде чем вы скажете, что с вами случилось, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы.

– Видите ли, – возразил я, – тут случай не совсем обычный, поэтому, может быть, лучше сразу начать с него.

– Нет, нет. До вашего случая мы еще дойдем. Я вам буду задавать вопросы, они поначалу могут вам показаться странными, но потом вы поймете, что я ничего не спрашиваю зря.

Мне казалось, что он слишком юн и потому слишком играет во взрослого, но деваться было некуда, и я подчинился.

Вопросов было много. Болел ли в детстве малярией, тифом, коклюшем, скарлатиной, дизентерией? Занимался ли физическим трудом? Сколько времени? Теперешний образ жизни? Квартирные условия? Отношения в семье? Делаю ли зарядку? Гуляю ли? С какого возраста курю и сколько сигарет в день? Все я ему рассказал.

– Ну, хорошо, – сказал Новиков, – а теперь расскажите про ваш необычный (тонкая ирония) случай.

Слушая, он несколько раз взглядывал на Корнилова, очевидно желая знать, как тот относится к моим выдумкам. Потом сказал тоном старшего человека:

– Вот что, дорогой мой, прошу вас, никому этого больше не рассказывайте. Поверьте мне, я знаю многих больных, которые рассказывают подобные истории.

– Я сам таких знаю, – сказал я.

– Вот видите, и вы знаете. Сейчас я вас проверю, и вы убедитесь, что у вас все в порядке.

Он уложил меня на диван и стал укреплять датчики

переносного кардиографа. Включил аппарат.

– Гм, что-то тут дребезжит.

Поправил датчик на левой руке. Несколько раз считал пульс, мерил давление, простукал меня, прослушал и откинулся в изумлении.

– Да, есть!

– Что есть? – спросил я с понятным нетерпением.

– Есть признаки какого-то отравления. Для вашего вялого состояния пульс слишком велик. Да и давление… Вы небось гипотоник?

– Гипотоник.

– А давление 130 на 90. Для вас это много. Я в этом не специалист. Тут нужен токсиколог. Из того, что я знаю, похоже на реакцию после наркотика. Что-то вроде ЛСД или аминазина. Сколько дней прошло? Три? Вы считаете, что вас газом отравили? А они не выходили из комнаты?

– Один выходил.

– А другой был все время? – Покрутил головой. – Нет, газ отпадает. Вы там не пили, не ели? А сигареты свои курили?

Шубин тоже спрашивал про сигареты, и я сказал, что курил свои. А тут подумал и вспомнил! Был ведь такой момент, когда Петров отвлек меня от стола, где лежали мои сигареты. Когда он показывал мне картину, в которой не было ничего интересного. Да, это самый обыкновенный, очень принятый у воров и мне знакомый со времен ремеслухи прием отвлечения. Простой, по-детски бесхитростный – смотри: вон птичка летит! Или: вон висит картина. Пока Петров меня отвлекал (а больше никакого смысла в показе картины не было), Захаров подменил пачку. При моей абсолютной беспечности ничего проще не было. Как же мне это сразу не пришло в голову?

Теперь становилось понятным, для чего еще во время первой встречи, на Лубянке, Захаров стрелял у меня сигареты. Примеривался и проверял мою бдительность. Может быть, там даже и отрепетировал подмену. Репетиция прошла успешно. Более чем. Я не только не следил за сигаретами, но сам их к нему пододвинул, чтобы он каждый раз не просил.

На самом деле Захаров, скорее всего, вообще некурящий. В гостинице он специально показал мне пачку «Столичных», чтобы я отметил, что у него сигареты другого сорта. Пачка была нераспечатана. Не помню, чтобы он ее распечатывал и курил. Уже не нужно было и не курил.

Почему я всего этого сразу не вспомнил? Потому что память ко мне возвращалась постепенно, как бы кусками.

До посещения доктора и после – всего приблизительно шесть

дней – я чувствовал в себе последствия отравления. Шесть дней были круги под глазами, тяжесть и жжение в икрах ног, шесть дней я без всякой диеты худел.

Между прочим, я тогда записал, что похудел на пять килограммов. Такие данные задним числом не переписывают, но теперь, имея более надежные доказательства происшедшего, скажу, что назвал эту цифру из боязни преувеличить. У меня были очень плохие весы. Их показания колебались в зависимости от того, как на них станешь. Так вот, они показывали потерю веса большую, даже, может быть, килограммов восемь, но я им не поверил (боялся, что другие не поверят тем более), сбавил цифру, и, может быть, зря.

Андрей Амальрик любил денежки

Еще одному врачу я показывался – психиатру Алле.

– Да, – сказала она, выслушав меня. – История, ничего не скажешь, и впрямь сумасшедшая.

– Значит, ты мне не веришь?

– Нет, я тебе верю.

– Веришь всему, что я рассказал?

– Всему верю. Не знаю, зачем было бы тебе врать.

– И ты не думаешь, что я сумасшедший?

– Нет, не думаю.

– Почему?

– Потому, что ты самый нормальный человек из всех, кого я знаю.

– А где грань между нормальным и ненормальным?

– Ну, знаешь, чтобы все это объяснить, я должна была бы прочитать тебе курс лекций, но такая грань все-таки есть.

– Но они все равно могут объявить меня сумасшедшим.

– Нет, не могут.

– Почему?

– Потому что ты не сумасшедший.

– Но они же сажают нормальных людей в психушки?

– Кто это тебе сказал?

– Ты собираешься отрицать, что они сажают нормальных людей?

– Отрицать не буду, но, если ты посмотришь непредвзято на тех, кого сажают в психушки, ты увидишь, что каждый из них отличается, ну, скажем, неуравновешенностью характера, вспыльчивостью, стремлением к переустройству мира, повышенным самоуважением, все это, конечно, не клиника, но есть муха, из которой можно сделать слона, а у тебя этой мухи нет. В твоем поведении нет того признака, который можно дотянуть до диагноза.

Я передал этот разговор Андрею Амальрику.

– Конечно, – сказал он, – в психушку сажают не каждого. Со мной, например, этого не сделают никогда. Знаете почему? Потому что у них самый основной тест – это отношение человека к личной выгоде. Если человек делает что-нибудь бескорыстно, за идею, за правду, за родину и свободу, значит, чокнутый. А я им всегда говорю: я, гражданин следователь, за бесплатно не работаю, а всегда только за денежки, денежки я люблю, и они у меня в швейцарском банке хранятся под очень большие проценты.

Это уж слишком и очень смешно

Так случилось то, что я описал. Как сказано выше, я послал открытое письмо Андропову. Мне позвонили из «Немецкой волны», и я начитал свое письмо на включенный в Кельне магнитофон. Тогда, в 1975 году, еще не все позволяли себе выступать по западным радиостанциям. Я боялся, что связь прервут, торопился, читал без выражения, проглатывая слова. Но телефон не отключили, и мне самому удивительно было слышать уже тем же вечером свой рвущийся голос, которым я читал текст, обращенный к Андропову. Помня о высказанных мне угрозах, я сказал: «Убийство тоже неплохая оценка писательского труда. Если меня посадят, я не буду возражать, чтобы демонстранты на Западе кидали в наших дипломатов тухлые яйца или гнилые помидоры, что кому больше по вкусу. Если же что-то случится с моими близкими или инкассатор «под мухой» застрелит меня, весь мир будет знать, кто направлял его руку».

Конечно, элемент нелюбимой мною патетики здесь имеется, но иногда бывают в жизни моменты, когда человеку очень трудно от нее удержаться. Я и дальше развил свою мысль в том же духе (о чем выше упоминал): «Я не боюсь угроз, Юрий Владимирович. За меня отомстит солдат Чонкин. В своих драных обмотках он уже пошел по свету, и всем вашим инкассаторам его не победить…»

(По крайней мере двум моим сочинениям повезло так, что действие их с книжных страниц перешло прямо в реальную жизнь. В книге Чонкин был атакован сначала районным отделением НКВД и регулярной воинской частью, а в жизни – сначала было КГБ под командованием самого председателя, за чем последовали нападения генералов и маршалов, включая командующего всеми Вооруженными Силами СССР маршала Язова. Такой же эффект с другим романом. В «Москве 2042» персонажи романа хотят вычеркнуть из книги Сим Симыча Карнавалова, а как только книга появилась в Москве конца восьмидесятых годов нашего века, так тут же раздались требования не книжных героев, а реальных суровых критиков: вычеркнуть Сим Симыча Карнавалова.)

Сочиняя письмо Андропову, я еще не понял, что именно со мной случилось. Кое до чего стал додумываться потом, описал опять происшествие, теперь со всеми подробностями и более обоснованными подозрениями. Передал рукопись Максимову, и тот опубликовал ее в «Континенте» (№ 5) в том же 1975 году.

Откровенно говоря, я думал, что публикация эта обратит на

себя внимание так называемой мировой общественности, но мировая общественность и ухом не повела. Включая всех писателей, к которым я раньше обратился, кроме, если не ошибаюсь, француза Пьера Эммануэля, это он придумал всех нас, преследуемых в СССР литераторов, кто хоть немного что-то писать умел, принимать во французский ПЕН-клуб и тем предохранять от пропадания без вести. Старания Эммануэля оказались не напрасны: ни один из тогдашних российских членов французского ПЕНа в тюрьму не попал.

Что же касается мировой общественности, то она не заметила даже случившегося годом позже убийства Богатырева.

В моем же случае это все-таки не убийство, а так, неизвестно что.

Сами же кагэбэшники несколько забеспокоились. И делали все, чтобы мое заявление дезавуировать.

У них были и помощники.

Я не знаю, действовал ли поэт Евгений Евтушенко по чьему-то заданию или сам от себя старался, но в те дни он каждого встречного-поперечного и с большой страстью убеждал, что никто меня не травил (интересно, откуда ж ему это было известно?), всю эту историю про отравление я для чего-то наврал. Зуд разоблачительства по отношению ко мне у него не угас с годами, он через пятнадцать лет после случившегося публично (на заседании «Апреля») и ни к селу ни к городу вспомнил эту историю и опять повторял, что я вру. Неосмотрительно хвастаясь своей осведомленностью: «Поверьте мне, уж это я точно знаю». Не буду говорить подробно о той роли, которую играл этот человек в годы застоя. Возможно, когда-нибудь еще будет написана его биография, а может, даже роман о нем (вроде «Мефисто» Клауса Манна), и там будет показано, как и почему человек яркого дарования превращается в лакея полицейского режима. «Талант на службе у невежды, привык ты молча слушать ложь. Ты раньше подавал надежды, теперь одежды подаешь». Эти написанные им слова ни к кому не подходят больше, чем к нему самому.

Известна его роль посланника «органов» к Бродскому и Аксенову.

Еще в свои молодые годы Евтушенко публично говорил, что каждого, кто на его выступлениях будет допускать антисоветские высказывания, он лично отведет в КГБ. Уже в начале перестройки, приветствуя ее, но все еще распинаясь в верности своим детсадовским идеалам, вспоминал в «Огоньке» о том, как был готов «набить морду» каждому, от кого услышит анекдот о Чапаеве.

Во время моего «диссидентства» Евтушенко очень старался

подорвать мою репутацию и ухудшить мое и без того тяжелое и опасное положение, говоря, например, интересовавшимся моей судьбой иностранцам, что я плохой писатель, плохой человек, живу хорошо и их беспокойства не стою. (О том, как вели себя в эти годы купленные на советские «деревянные» рубли видные и морально конвертируемые западные интеллектуалы, тоже стоило бы поговорить, да ладно, в другой раз.)

Евтушенко был не одинок. Одна уважаемая мною писательница говорила каким-то людям, что я помешался и горожу какую-то чушь. Очень многим другим людям (и не только в СССР) этот случай представлялся неправдоподобным, а некоторым даже очень хотелось, чтобы он оказался бредом сумасшедшего или выдумкой спьяну.

Интересно, почему все же люди не верили?

Отравление сигаретами неужели столь неправдоподобно, что нельзя его даже предположить? Или наши люди столь недоверчивы? Как же, очень даже доверчивы. Это ж они верили в маршалов-шпионов, инженеров-вредителей, врачей-отравителей, колорадских жуков и сейчас верят в инопланетян, филиппинских целителей, заряженную воду, экстрасенсов и мумие.

Многие поколения психологов разобьют себе лбы, пытаясь понять загадку, почему люди так легко верят в то, чего нет, и не верят в то, что видят перед глазами. Самые несвободные люди в мире верили, что свободнее их нет никого на свете. В стране, где в мирное время в лагерях гибло больше людей, чем в годы войны на фронте, одна из самых распространенных фраз была: «У нас зря не сажают». И вот еще интересно, что дурак дурость свою слепую имеет наглость воспринимать как вид доброты. «Что вы говорите? У нас? Миллионы? В лагерях? Каким надо быть злым человеком, чтобы такое говорить!»

Уж казалось, чего только ни делала Госбезопасность под всеми своими названиями. Уничтожала людей, как клопов, по любому поводу, в любых количествах, любым способом. «А что, – сказал мне недавно один бывший гэбэшник, – народ и сейчас к слову «чекист» относится с уважением».

Народ не народ, а дураков и сейчас хватает. Ну, а еще недавно их было хоть забор из них городи. Что? У нас? Посадили? Убили? Отравили? Не верим.

Дело вроде простое, а поверить трудно. Неужели возможно человека только за то, что он пишет какие-то выдумки, вот так всерьез и с самыми серьезными целями отравить? Может, и сама эта история тоже плод художественного воображения? Моя американская редакторша Нэнси Майселас, которая привезла мне в Москву известие о своей работе над готовящимся изданием

«Чонкина», сказала, что прочла «Происшествие в «Метрополе» перед самым отлетом из Нью-Йорка и на мой вопрос «Ну, и как?» растянула рот до ушей:

– Вери фанни. (То есть очень смешно.)

Но люди, которые умели смотреть правде в глаза и которым повадки КГБ были знакомы по личному опыту, приняли мой рассказ всерьез. Юрий Орлов и Андрей Амальрик в моей правдивости не усомнились.

И не только они. Белла Ахмадулина поверила моему рассказу безоговорочно и много раз говорила мне, что я ее убедил художественно. (Я-то как раз художественностью своих описаний был очень недоволен.)

А кагэбэшники на мои заявления реагировали нервно. Сначала, как и следовало ожидать, попробовали объявить меня сумасшедшим. Амальрик, вызванный к следователю в те дни на допрос, спросил, в чем ему лучше прийти – в скафандре или достаточно противогаза? Следователь сказал: «А, вы имеете в виду эту историю с Войновичем? Разве вы не видите, что он сумасшедший?»

Потом было сказано, что я написал злобную клевету на органы. «Клевета», очевидно, оказалась для КГБ весьма чувствительной, и поэтому заместитель председателя Госкомиздата СССР и близкий друг небезызвестного С. Иванько некто Чхиквишвили сказал (мне передали): «Войновичу последний раз дали возможность проявиться как порядочному человеку, но он эту возможность отверг и теперь сдохнет в подвалах КГБ».

(Интересно, как в моем случае должен был проявить себя порядочный человек? Что же касается подвалов, то их, как теперь вроде бы выяснилось, в здании на Лубянке никогда не было, но Чхиквишвили, работавший, вероятно, на более высоких этажах, этого мог и не знать [10].)

Но поскольку время шло, моя публикация настоящего внимания не привлекла, кагэбэшники успокоились и подобрели. Проводивший «беседу» с Б. Сарновым чекист сказал: «Войнович написал на нас пародию, но в нее никто не верит».

Сами гэбисты в мою «пародию» все-таки верили. Юрий Идашкин, взявшийся в 1980 году быть посредником между мною и КГБ по поводу моего отъезда за границу (о нем подробнее когда-нибудь тоже расскажу), сказал мне, что люди, которые меня отравили, были наказаны. Разумеется, не зато, что отравили, а за то (я так думаю), что «засветились». Я спросил его: а зачем они это сделали. «Ну мало ли, – отмахнулся он, – мало ли, что выдумает какой-нибудь старший лейтенант».

Тот, который во мне не сидит

Но версию самовольства нижних чинов я отмел сразу. Мне было ясно, что тот человек, именовавший себя Петровым, не был старшим лейтенантом. Он назвался начальником отдела, а это должность, по крайней мере, полковничья, если не генеральская. Представляя себе более или менее чиновничью психологию, я не мог поверить, чтобы такой человек в присутствии подчиненного назвал себя чином выше, чем он есть на самом деле. И то, что это был достаточно большой чин, говорит о важности того, зачем он пошел в «Метрополь».

Я с самого начала думал и утверждал устно и письменно, что эта «операция» была разработана на самых кагэбэшных верхах и одобрена по крайней мере лично Андроповым. Вовсе не из тщеславного желания быть лично известным главному полицаю, а потому, что (для меня это было косвенным доказательством происшедшего) с некоторых пор партийные верхи, опасаясь за самих себя, все террористические акции гэбистов держали под строгим контролем. Это, с одной стороны, давало им гарантию того, что террор не дотянется до них самих, но, с другой стороны, создавало то неудобство, что вынуждало их всех по правилам круговой поруки брать ответственность на себя.

Вот и здесь «операция» была такого рода, что ни о какой инициативе старших лейтенантов речи быть не могло. И если акция была террористического характера, она не могла быть предпринята вне непосредственного контроля лично Андропова. Так что, появись в нашей истории тень этого монстра, ее можно было бы считать хотя и немым, но достойным доверия свидетелем с нашей стороны (забегу вперед: на каком-то этапе нашего повествования тень Юрия Владимировича не только появится, но даже заговорит).

Мои тогдашние рассуждения привели меня к тому, что если даже конечной целью отравления было не убийство, то что-нибудь все-таки более зловещее, чем, предположим, одурманивание в надежде запугать или вызвать болтливость. Было покушение если не на жизнь, то на психику. На личность. А мне моя личность, правду сказать, всегда была дороже моего физического существования. И вовсе не по причине самовлюбленности. Будь у меня возможность участвовать в конструировании себя самого, я бы кое-какие (многие) параметры изменил в сторону улучшения. Но поскольку этой возможности нет, моя задача – остаться самим собой. В каждом человеке помимо инстинкта самосохранения, сохранения себя как

биологической единицы, есть инстинкт самосохранения личности. У одного больше развит один инстинкт, у другого – другой. У меня другой. Я это познал в процессе своего жизненного опыта. Начиная с мелочей. Я встречал много людей, у которых инстинкт № 2 очень ослаблен. Такие люди без всякой натуги исполняют любые желания государства, начальников или хозяев и при малейшей необходимости отказываются от самих себя, легко меняя имя, национальность, религию и партийную принадлежность. Не говоря уже о принципах и убеждениях. За границей мне встречались супружеские пары, которые, торопя свое превращение в американцев, даже в общении между собой переходили на ломаный английский язык, хотя это бывало преждевременно и смешно. Мне такая готовность к превращениям всегда была крайне чужда, а когда меня к ним понуждали, инстинкт мой противился и отказывался внимать доводам разума. Временами он настолько портил мне жизнь, что я пытался его игнорировать, но потом понял, что инстинкт умнее ума и раз он так хочет, значит, знает, что делает.

Человеческая личность представляет собой сложнейший сплав элементов с самыми разнородными свойствами. Изменить формулу этого сплава трудно и даже невозможно, если человек по тем или иным причинам сам этому не способствует. Но если способствует, то результаты превосходят все ожидания. Сколько мы видели случаев, когда кто-то, в угоду обстоятельствам, из соображений выгоды или страха, сам себя ломая, изменяет свое поведение, и на наших глазах происходит распад личности катастрофический и трагедийный. Разложить личность только внешними силами раньше было совсем невозможно, но теперь на помощь этим силам пришла наука, которая может все.

Сейчас в российской печати появились (например, статья Владимира Щепилова «Тот, который сидит во мне» в «Независимой газете» от 19 ноября 1991 года) сведения о преступных опытах по воздействию на психику отдельных индивидуумов с целью превращения их в «зомби», то есть в как бы прежних людей, но лишенных некоторых важных личностных характеристик. Поведение зомбированных людей можно программировать (кстати, описывая 18 лет тому назад выполнение мною заранее намеченной программы – нафталин, пиво, – я о подобных опытах ничего не слышал). Владимир Щепилов пишет, что среди шпионов-«возвращенцев» были обнаружены люди, подвергшиеся программированию психики. Щепилов пишет (и другие авторы тоже), что программирование осуществляется с помощью комплекса мер и средств: в дело идут химия, радиация, гипноз. Причем для полного успеха нужно

несколько сеансов (вот, может быть, почему Петров приглашал меня прийти к нему через две недели).

Отвлекаясь в сторону, скажу то, что зомбированием писателей советская власть занималась и до изобретения всех чудес радиохимии. Если «Тихий Дон» написан действительно Михаилом Шолоховым, то ничтожный старик, который умер под этим именем, был зомбирован, возможно (а впрочем, химия – наука немолодая), такими простыми средствами, как водка, страх, лесть, деньги и привилегии, – все в безумных количествах. И не только Шолохов. Горький по возвращении из-за границы неуклонно и катастрофически превращался в полного дурака и отравлен был, может быть, потому, что глупость его все-таки не достигла запланированного предела. Есть и другие писатели, с течением времени утратившие талант и поглупевшие столь противоестественно, что невольно возникает мысль (сумасшедшая?): а не направлялось ли это поглупение опытными в подобных делах специалистами? Возможно, попытка ускоренного зомбирования была предпринята по отношению и ко мне. Через сигареты ли, начиненные наркотиком? Вероятнее всего, да, но что же тогда случилось со мной, когда я потянулся к выпавшему из рукава микрофону?

Мне один западный врач тоже высказывал подозрение на ЛСД и говорил, что определенная доза этого наркотика может нанести повреждение психике при одноразовом приеме, но насколько он прав, не знаю, да и применение ЛСД – это не факт, а всего лишь предположение. Может, на меня воздействовали еще каким-нибудь способом. Я вот, например, не знаю, что скрывалось в описанном мною номере 480 там, в углу, за занавесками. Люди? Специальное оборудование? Или и то и другое?

Выше сказано, что прямые симптомы отравления я ощущал примерно шесть дней. Говорить о других последствиях очень рискованно, но я не имею права упускать никакие подробности, подозрения и соображения. Так вот, другие последствия, как я предполагаю, но точно утверждать не могу, продолжались гораздо дольше, может быть, даже несколько лет. Перед тем как меня отравили, я активно и, как мне казалось, успешно работал над «Чонкиным», но после происшествия в «Метрополе» и в течение долгого времени моя работа шла значительно хуже, я терял нить сюжета, одни и те же сцены переписывал без конца, ни на одном варианте не мог остановиться и вообще топтался на месте гораздо больше, чем раньше. О чем, очевидно, наблюдавшие за мной гэбисты были осведомлены, поскольку мои рукописи, как я понял потом, хранились в очень доступном для них месте.

Творческий процесс – дело таинственное, подъемы и спады в нем случаются и без участия секретной полиции, поэтому я не настаиваю на том, что упадок, наступивший в моей работе, был прямым результатом воздействия на меня какими-то средствами в гостинице «Метрополь», но, раз уж начал, выскажу все подозрения, какими бы странными они ни казались. Подчеркиваю: подозрения, а не утверждения.

В 1980 году, соглашаясь покинуть СССР, я поставил властям условие, что моя кооперативная квартира будет передана родителям моей жены, а до того и до моего отъезда в ней будет восстановлена телефонная связь. Переговоры мои велись через посредника, которого звали Юрий Идашкин, а кто стоял за ним, я не знаю, может быть, тот же Андропов. Условия мои были приняты с легкостью, которая только поначалу показалась мне удивительной. Условия были приняты, но на рассвете 21 августа мать моей жены Анна Михайловна умерла в больнице от сердечной недостаточности. Двумя часами позже весть была сообщена ее мужу Данилу Михайловичу, и он на выходе из подъезда тоже умер (не с посторонней ли помощью?). Вечером того же дня со мной случился приступ неизвестно чего. Сердце? Мозг? Нервы? Самые квалифицированные врачи так и не нашли ни источника, ни причины. Подобные симптомы (слабые, в виде некоторого неудобства при засыпании) я впервые ощутил в ночь на 5 августа, но 21 августа разыгрался сильнейший приступ: дыхание останавливалось, и давление прыгало ежеминутно от верхнего критического предела до нижнего, и так продолжалось несколько ночей подряд, а потом в течение лет время от времени (и всегда по ночам) повторялось, а диагноза нет и поныне. А за границей вначале были случаи, когда, выступая перед публикой, я вдруг совершенно забывал, о чем хотел сказать, и это было очень мне несвойственно, потому что я выступать умею. Впрочем, можно предположить что-нибудь и попроще. Анна Михайловна умерла от сердечной недостаточности, Данил Михайлович от внезапного шока, а мои приступы развились на фоне нервной перегрузки (она, конечно, была).

Так или нет, я не знаю, но следует признать, что в любом случае кагэбэшники кое-чего добились. Хотели помешать окончанию «Чонкина», и так ли, сяк ли, а помешали. С тех пор прошло восемнадцать лет, а книга все еще не дописана. Что-то мне мешало ее закончить. Хотя, надеюсь, никто посторонний во мне все-таки не сидит, поскольку мне во мне для меня самого места мало.

Убийство туриста В Нью-Йорке

Умные люди мне говорили, что тогда, в 1975 году, я повел себя неправильно. Пошел по звонку, не потребовал от Петрова и Захарова предъявления документов, согласился на встречу в гостинице, сигареты выложил на стол, картину смотрел и не подумал оглянуться, растяпа.

Все так, поступил я во всех смыслах неправильно, потому и остался жив. Видя, что я веду себя очень неправильно, они решили, что со мной можно провести неспешный эксперимент, в процессе которого я им помогу угробить себя самого чисто. Если б я их такой надежды сразу лишил, они бы придумали что-нибудь попроще да эффективней, вроде бутылки, которую истратили на Костю Богатырева.

Ну, а после такой накладки доделать свое дело они все-таки не решились. Потому что тут уж кто-нибудь (допустим, Андропов) должен был взять на себя ответственность полную. Он бы, пожалуй, и взял, но мог и опасаться, что в случае дворцовых интриг или, не дай бог, нового возвращения к ленинским нормам социалистической законности кто-нибудь пожелает предъявить ему столь замечательный компромат. Так что в данном случае мокрое дело было отменено, хотя планы подобные, насколько мне известно, в КГБ и дальше проигрывались и были в конце концов оставлены не раньше чем через пять с половиной лет, то есть только после моего отъезда в чужеземство.

Где я прожил много долгих лет в ожидании больших перемен на нашей туманной родине.

Осенью 1989 года я переселился на год в Вашингтон и издалека следил за развитием событий в России, в нетерпеливом предвкушении дня, когда наконец тамошняя перестройка дойдет до возвращения мне и другим гражданства и возможности вернуться.

Я думал не только о самом возвращении, но о разных его аспектах, в числе прочих о том, как бы мне все-таки проникнуть в загадку своего отравления. Для меня это было важно. Больше того, временами я думал, а стоит ли мне вообще возвращаться, пока эта история не открыта и не закрыта. Я надеялся, что приближается время, когда мне удастся докопаться до сути, и очень рассчитывал на встречу с человеком, который о моей истории в эти годы тоже, кажется, думал и мог иметь ценные соображения.

Границы СССР тем временем постепенно дырявились, я сам побывал уже с краткосрочной визой в Москве, советские туристы

валом валили на Запад, в аэропорту имени Кеннеди звучала русская речь, наступил период неразборчивого братания всех со всеми, без разделения на советских и антисоветских, о чем с изумлением, возмущением и восторгом писала эмигрантская газета «Новое русское слово».

Проглядывая эту газету, я однажды наткнулся на заметку под названием «Убийство туриста». Сперва я даже внимания не обратил: ну убили и убили. В Нью-Йорке всегда кого-нибудь убивают. Я стал читать что-то другое, а уж потом, не зная, чем дальше себя занять, вернулся к этой заметке. Обыкновенная история. Приезжий из Советского Союза возвращался поздно из очередных гостей. (Как выяснилось, рассуждая при этом, что слухи о криминальности Нью-Йорка слишком преувеличены.) В подъезде двое бандитов с револьверами напали на его жену, стали вырывать сумку, а он сделал то, от чего полиция настойчиво предостерегает, – кинулся на помощь жене. И тут же получил две пули в грудь, от которых по дороге в госпиталь умер. В заметке указывалась и фамилия погибшего. Она меня не заинтересовала. Обыкновенная и очень распространенная русская фамилия. Я перевернул страницу и стал читать объявления: советские писатели выступают в гостинице «Дорал Инн», дешевые кондоминиумы на Оушн Парквэй, доктор Оселкин лечит и удаляет зубы, «Вы можете себе позволить самое лучшее» (определение беременности и аборты) и Джек Яблоков, еврейский похоронный дом, самые низкие цены… Но в голове у меня вертелась фамилия убитого туриста, я опять обратился к заметке, прочел еще раз: Аркадий Новиков, врач из Москвы, сорока семи лет… и только сейчас сообразил: батюшки, да это же он! В памяти сразу возник худощавый молодой человек в полосатой рубашке с расстегнутым воротом и в очках с увеличительными линзами. Хотя в эти годы я о нем вспоминал, и не раз, но помнились только слова, а зрительного образа не возникало. А тут выплыл из памяти, как живой, и даже как будто заговорил: «Теперь расскажите про ваш необычный случай».

Тут некоторые проницательные читатели выйдут на след: важный свидетель, КГБ, длинные руки… но след этот ложный. Аркадий Новиков был для меня свидетелем важным, но КГБ в данном случае вне подозрений. Просто совпадение обстоятельств, говорящее, впрочем, о том, как много насилия совершается в мире.

Молчание – золото

А я, между прочим, мысли о дополнительном расследовании давней истории не оставлял.

Недоверие к моему рассказу об отравлении высказывалось разными людьми, и не только такими, кого я мог зачислить в разряд бесчестных. Оно меня в некоторых случаях ранило, а в других оскорбляло, но дело было не только в этом. А еще и в том, что с некоторых пор террористические акции КГБ проходили без всякого отклика. Существовало даже мнение, что упомянутое мною убийство Степана Бандеры было последним актом физического устранения политических противников советской власти. Возможно, это мнение справедливо для заграницы, где агенты КГБ стали слишком часто сдаваться и устраивать скандальные пресс-конференции (тот же Богдан Сташинский, а за несколько лет до него капитан КГБ Николай Хохлов, посланный в Германию, чтобы убить одного из руководителей НТС Георгия Околовича, но отказавшийся от своего намерения и сдавшийся американцам. После чего, кстати, сам ставший жертвой покушения. Выпил где-то чашку кофе с подсыпанным в него радиоактивным барием и был вытащен с того света американскими докторами). Так что заграничный террор был сопряжен с большим политическим риском. А внутри страны какой риск? Здесь агенту если уж поручат убить, он убьет, ему сдаваться здесь некому, а там он не бывает, поскольку невыездной.

А всякое расследование (да кто на него решится?) можно на любом этапе прекратить или завести в тупик. Вот и имели место происшествия, которые, конечно, могли произойти с кем угодно, но почему-то с теми, кем советская власть была недовольна, они случались чаще, чем полагалось бы по статистике. Какого-то человека после посещения Сахарова скинули с поезда, Виктора Попкова застрелил инкассатор, другой художник, Евгений Рухин, сгорел в своей мастерской, Константину Богатыреву проломили череп бутылкой, а Александру Меню уже в перестроечные времена – топором. Но опять-таки вспомним о достижениях химии. Бандера – синильная кислота, Хохлов – радиоактивный барий, зонтик, убивший болгарина Георгия Маркова, был заряжен пулей, отравленной веществом, называемым рицин. А еще была серия непонятных ожогов, от которых пострадали Александр Солженицын, французский профессор Жорж Нива, в Москве – еврейский отказник Лев Рубинштейн, в Ленинграде – Илья Левин. Ожоги загадочные, а кто это сделал? И вот представьте себе, в

свое время Солженицын, едва не умерший от ожога, предположил бы, что это дело рук КГБ, как бы отозвались наши доверчивые сограждане? Чокнулся писатель, крыша поехала, везде ему мерещится зловещая рука КГБ.

Об истории своего отравления я после тогдашних своих заявлений четырнадцать лет не поминал, но с тех пор, как открылись для меня вновь границы отечества и отменилась цензура, снова попытался привлечь к нему внимание. Рассказал сначала по радио «Свобода», потом в журнале «Искусство кино», потом в интервью «Известиям» и ждал, что КГБ как-нибудь отзовется. Не могут же они этого не заметить. Пусть ответят как угодно, хотя бы разразятся опровержением. Еще я надеялся, что кто-нибудь причастный в порядке личного раскаяния, по пьянке или иной причине позвонит, пришлет письмо, пусть даже анонимное. Ну хоть какой-то отклик должен же был быть. Но его не было.

Не оставляя своих попыток, я в журнале «Столица» (№ 2, 1992) писал: «Тогда, в 1975 году, допрашивавшие меня наследники Дзержинского говорили, что они не такие, какими были чекисты сталинского образца. Нынешние наследники Андропова уверяют нас, что и они, в свою очередь, не такие, как те, которые травили диссидентов. Ну вот, если не такие, пусть раскроют хотя бы дело, о котором я рассказал. Пусть опубликуют необходимые материалы и ответят на такие примерно вопросы: какая именно операция проводилась 11 мая 1975 года в номере 480 гостиницы «Метрополь»? Какие при этом применялись средства? Кто были ее организаторы и исполнители? Какую цель они ставили перед собой и чего достигли? Я прошу лично руководителя службы госбезопасности России и парламентские комиссии по контролю над этими службами не оставить мой рассказ без внимания, расследовать тот давний случай покушения на мою личность и обнародовать результаты расследования. Речь, подчеркиваю, идет, возможно, об опытах, которые не только представляли опасность для нашего общества в прошлом, но могут быть еще опаснее в будущем».

И на этот раз никакого отклика. Ну просто ни единого, кроме как от того же Евтушенко, который, как мне сказали, звонил главному редактору «Столицы» А. Мальгину и угрожал ему (почему бы не мне?) судом за клевету. Мальгин, очевидно, обеспокоенный этим звонком, написал в своем комментарии, будто я прозрачно намекаю на сотрудничество Евтушенко с «органами». На самом деле я совершенно ни на что не намекаю, а привожу конкретные факты. При этом меня, правду сказать, не очень-то занимает, состоял Евтушенко в каких-нибудь кагэбэшных

списках или, как я уже сказал, сам от себя старался. Как говорит одна моя знакомая: мне не нужно знать, в каком отделе и в каком чине работает человек, и не нужно видеть его служебное удостоверение, когда весь мой организм им брезгует.

А все-таки почему же не ответили на мой такой прямой призыв наши новые (обновленные) «компетентные органы»? Не читают журналов? Не заметили этой публикации? Или решили, что речь идет о чепухе, не достойной ответа? Если бы они не считали себя ответственными за прошлое и прочли мою публикацию, то естественной их реакцией было бы проверить, не лишнего ли автор наворотил, и затем отозваться заметкой: факты подтвердились или не подтвердились. Но молчание, оно, как известно, золото и само по себе тоже кое о чем говорит.

Резолюция президента

В попытке найти инстанцию, которая мне поможет добраться до моего досье, я обратился к моему старому другу адвокату Борису Андреевичу Золотухину, который в бывшем Верховном Совете России занимал очень важную должность (какую именно, я все забываю). А через его поспешество вышел на Сергея Михайловича Шахрая, в то время, помимо выполнения прочих обязанностей, контролировавшего КГБ, или по-теперешнему МБ (министерство безопасности), причем контроль, как выяснилось, был мнимый.

Договорившись предварительно с Шахраем, я явился к нему на прием, но впереди себя послал 21 февраля 1992 года письмо, в котором просил оказать на КГБ – МБ воздействие, чтобы они рассказали, какая именно операция, кем и по чьему указанию проводилась со мной в гостинице «Метрополь» 11 мая 1975 года, и выдали мне все мое досье.

Признаюсь, на назначенную встречу я шел с большим волнением. Я, конечно, думал, что я прав и добиваюсь правды, но все же время от времени и у самого закрадывалось сомнение. Ну, а все-таки, не показалось ли мне это на самом-то деле? Ну да, я, как мне кажется, не очень мнительный человек, и как-то не похоже, чтобы прямо так сразу мог помешаться ни с того ни с сего, но как-никак это был необычный и единственный для меня жизненный опыт. Может, и в самом деле, страх, который сидел во мне глубоко, в котором я самому себе не хотел признаться, дал такую острую и незаурядную реакцию?

Вот, предполагал я с опаской, приду к Шахраю. Выйдет он в приемную, пригласит к себе в кабинет, а там на столе – толстая папка с подшитыми аккуратно листами. Откроет эту папку на нужной странице, а сам отвернется, испытывая неловкость от конфуза, в который приходится ввергать столь достойного и седого человека, как я.

Я прочту какие-то бумаги, из которых сразу станет совершенно ясно, что на самом деле не было ничего, кроме большого испуга.

Сесть в такую лужу было бы ох как неприятно, но я сам себе твердо сказал, что приму правду такой, какая она есть. Если бы даже выяснилось, что и в самом деле мне мое отравление примерещилось, это все равно не оправдало бы нисколько подонков, угрозами доводящих мирных людей, пусть трусливых, слабых и мнительных, до сумасшествия или (как это случалось с некоторыми прямо на допросах) до инфаркта.

Но в лужу меня пока что никто не посадил. У Шахрая на столе никакой папки не оказалось.

– Письмо ваше я прочел, – сказал он мне. – И очень хотел бы вам помочь. Но дело в том, что я сам еще не видел ни разу ни одного досье. Буду рад взглянуть хотя бы на ваше. Но чтобы добыть его, моего влияния мало. Тут нужен сам президент. Напишите короткое письмо Борису Николаевичу, а я ему передам. И если последует его резолюция, то уж ему отказать будет трудно. Тогда вы будете первым человеком, увидевшим свое досье.

Признаться, слова Шахрая меня удивили. Что ж это за контроль над КГБ, если человек, уполномоченный на это дело президентом страны, не может своей властью добыть хотя бы одно досье?

Тут же, в приемной Шахрая, я написал короткое письмо Ельцину. И стал ждать с волнением и любопытством. Как отреагирует Борис Николаевич и если отреагирует в желательном для меня духе, то что станется после этого?

Ждать пришлось недолго. Через несколько дней мне позвонили из какого-то околопрезидентского кабинета и сказали, что есть – есть! – резолюция президента. Мне ее тут же прочитали по телефону, и вот она в том виде, в каком мне запомнилась: «В.П. Баранникову. Надо В.Н. Войновичу материалы показать».

Радости моей не было границ. Президент подписал, президент предписал, президент указал. Не кто-нибудь, а сам президент. Теперь они у меня не отвертятся. А впрочем, зачем им вертеться? Ведь этот Баранников, насколько я понимаю, из тех, которые пришли после путча. То есть свой человек и, конечно же, демократ. К тому же он, как я читал в наших постсоветских «желтых» газетах, ходит вместе с Ельциным в баню и там трет ему спину, ничем практически не защищенную. И уж, наверное, если он столь высоким доверием облечен, то и указания президента для него что-то значат.

Семнадцать лет спустя на том же месте

Наша история обогащается появлением в ней еще трех персонажей, нынешних работников того же самого заведения, которое теперь называется не КГБ, а МБ – министерство безопасности (что в лоб, что по лбу). Поначалу я не хотел называть имена этих людей, но не вижу возможности и необходимости этого избежать. Тем более что они были мне представлены официально и никаких услуг, достойных сокрытия, мне не оказывали.

16 марта в моей новой московской квартире раздался звонок:

– Владимир Николаевич, здравствуйте, с вами говорит сотрудник Министерства безопасности России Краюшкин Анатолий Афанасьевич. Мне поручено ответить на ваше письмо президенту. Я готов это сделать. Как, вы к нам приедете или я к вам?

Я сразу все понял. Если он ко мне, значит, приедет с пустыми руками. А мне он пустой не нужен.

– Конечно, я к вам, – сказал я.

И вот опять приемная КГБ – МБ на Кузнецком мосту. Кажется, только номер дома изменился. Был 24, а теперь 22.

Принимали меня, естественно, двое. Сам Краюшкин (кажется, он начальник архива этого самого МБ) и младший, его заместитель Сергей Сергеевич Нагин, которого по молодости лет сослуживцы зовут просто Серегой.

На столе перед Краюшкиным лежала тонкая желтая папочка без какой бы то ни было надписи. «И это все?» – подумал я с невольным разочарованием. Вспомнилась строчка из стихотворения Степана Щипачева о датах рождения и смерти: «… И краткое тире, что их соединит, в какой-то миллиметр всю жизнь мою вместит».

Тут же папочка была развернута, и за нею открылись две бумаги, которые воспроизведем полностью.

Вот первая:

секретно (гриф секретности)
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления «3»
КГБ СССР
(должность) (звание)

(фамилия) (подпись)
«24» – X – 1990 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об уничтожении архивного дела оперативной разработки № 34840 «27» сентября 1990 г. Я, начальник отдела действующего резерва КГБ СССР, рассмотрев материалы архивного дела оперативной разработки 34840 «ГРАНИН»

Нашел: ДОР «Гранин» заведено в 1977 году. В 1980 году «Гранин» с семьей выехал в ФРГ и Указом Президиума Верховного Совета СССР за свои действия за границей был лишен советского гражданства. В октябре 1982 года дело было прекращено. В настоящее время материалы дела исторической и оперативной ценности не представляют.

Постановил: ДОР № 34840 «Гранин» в десяти томах (тт. № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) уничтожить, как не представляющие исторической и оперативной ценности.

«СОГЛАСЕН»

Начальник 8 отдела Управления «З» КГБ СССР

(подпись) (фамилия)

Всего лишь один лист бумаги. И так мало текста. А как много он говорит! Три начальника над этой бумагой работали – один составлял, другой подписывал, третий утверждал.

Как фамилия? – хотел бы я узнать про каждого, но фамилии нет ни одной. Аккуратно (не очень) вымараны. В самом низу охвостья еще каких-то недотертых подписей, и только одна сохранилась закорючка, похожая на целую подпись.

Есть вопрос: почему Гранин? Существует же настоящий Даниил Гранин, почему они мне дали его имя, а не, допустим, Бондарева, или Распутина, или кого еще. Почти всем, кому я потом эту бумагу показывал, приходила в голову близлежащая шутка, что Гранина они, очевидно, называли Вой-новичем.

Одного даже взгляда на эту бумагу достаточно, чтобы заметить, насколько она лжива. Как ни странно, именно это меня и обрадовало. Если в бумаге ложь по мелочам, то, может быть, и

главное утверждение об уничтожении дела тоже ложно.

Следующее постановление на таком же стандартном бланке написано от руки, странным, неестественным и, может быть, даже специально отработанным почерком. Здесь правый верхний угол вообще убран – никаких грифов, утверждений, званий и фамилий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об уничтожении оперативной подборки № 26189 «20» – VIII – 1991 г. Я, нач. 1 отделения 8отдела Управления «З» подполковник, рассмотрев материалы оперативной подборки №26189

Нашел: ДОР ОП № 26189 заведена в мае 1989 года, систематизированные в ней материалы не представляют сегодня ни оперативной, ни исторической ценности (как-то в основном материалы радиоперехвата).

В ОСК: Войнович Владимир Николаевич по спецподборке №26189

Постановил: ОП № 26189 в четырех томах (тома № 1,2, 3, 4) уничтожить путем сожжения. Постановление и акт об уничтожении направить в 10 отдел КГБ СССР для снятия с учета.

(подпись)

«СОГЛАСЕН»

(должность, отдел – управление, звание)

Фамилия составившего документ подполковника не указана, но внизу, где должна быть подпись составителя, стоит знакомая закорючка. И она же на обратной стороне листа, где написано той же рукой

АКТ

Мы, комиссия в составе нач. 1 отделения 8 отдела Управления «З» КГБ СССР подполковника Сергеева В. А., зам нач. того же отделения майора Засорина С. В. и ст/о

того же подразделения майора Калёкова Б. В., составили настоящий акт в том, что 20 (двадцатого) августа с.г. нами уничтожена путем сожжения оперативная подборка № 26189 в четырех (тома № 1,2,3,4) томах.

Дальше подписи. На первом месте все та же закорючка, теперь ясно, что это – вышеупомянутый полковник Сергеев. Его же подпись и у нижней кромки первого постановления.

Дело, однако, не в Сергееве (мне его фамилия ничего не говорит), а в соображении, которое у меня возникло чуть позже.

А пока, едва глянув на первый же документ, я сразу понял, что это попытка того, что в народе называется вешанием лапши на уши.

– Анатолий Афанасьевич, – сказал я, – вы что, проверяете мои умственные способности?

– А что такое? – спросил Краюшкин.

– Я не могу поверить этой бумаге, потому что это самая настоящая липа.

– Почему вы так думаете? – Краюшкин напряженно улыбался, но изобразил готовность развеять мои недоумения.

Я ему объяснил, что здесь даты и те лживые. Дело на меня было заведено наверняка не в 1977 году, а значительно раньше.

Начиная с 1966 года я подписывал письма в защиту разных людей. В 1968 году получил за это строгий выговор в Союзе писателей. В 1969 году была опубликована первая часть «Чонкина», за которую в 1970 году был вынесен второй строгий выговор с последним предупреждением. В 1974 году я был исключен из Союза писателей. Неужели все эти события прошли мимо глаз и ушей КГБ?

Но если даже и так, то вот уж эта история с моим отравлением никак не могла оставить КГБ равнодушным. Пусть я сошел с ума, или мне показалось, или я все выдумал, но мною по этому поводу был устроен большой шум. Я собрал пресс-конференцию, говорил об этом во многих своих интервью, в том числе и записанном на магнитофон и тут же переданном на весь Советский Союз «Немецкой волной», подробный отчет об этом опубликовал в «Континенте». Фактически я обвинил КГБ в террористическом акте.

– Вы, – сказал я Краюшкину, – хотите, чтобы я вам поверил, что к таким обвинениям КГБ осталось совершенно глухо?

– Ну, возможно, на вас собирались какие-то отдельные материалы, но специального дела не было. Если вы нам не верите, у вас есть другая возможность высказать свои сомнения.

Замминистра Василий Алексеевич Фролов готов вас принять и выслушать.

Краюшкин позвонил Фролову и договорился. Затем было высказано соображение, что перейти в другое здание лучше внутренним ходом, чтобы люди с улицы нас не видели. Не знаю, обычные ли это меры предосторожности или из прошлого опыта втягивания клиента: сделать вид, что он вместе с ними и заодно делает что-то потайное, что от людей надо скрывать.

Тем не менее мне было любопытно.

Прапорщик открыл своим ключом заднюю дверь, и из обыкновенного на вид учреждения в самом центре Москвы сразу попал я в тюремный двор с высоким забором, с батареей прожекторов наверху. Через двор прошли в новое большое здание КГБ, выстроенное рядом с самым главным. Пройдя по каким-то коридорам, оказались в просторной приемной, а потом и в самом кабинете замминистра с большими портретами Ленина и Дзержинского.

Невысокого роста седоватый человек лет пятидесяти, выйдя из-под портретов, протянул руку:

– Мне сказали, что вы чем-то недовольны.

– Я недоволен тем, что меня с самого начала пытаются провести на мякине.

– А что такое?

– Я не верю, что мое дело уничтожено.

– Разве вам не дали постановление?

– Постановление дали. Но если оно лжет по мелочам, почему я должен верить, что оно не врет вообще?

– А почему вы думаете, что оно лжет?

Объясняю конкретно. Вижу, он быстро прикидывает, стоит ли держаться версии Краюшкина, и решает, что не стоит.

– Да, – говорит он решительно, – да, здесь, пожалуй, что-то не то. Какой здесь год? Семьдесят седьмой? Нет, конечно, что-нибудь должно было быть раньше.

– Ну да, – держится за собственную версию Краюшкин, – раньше какие-то материалы тоже могли на вас собираться. Но дело открыто не было. Просто, может быть, отдельные материалы время от времени собирались и складывались.

– А куда складывались?

– В какую-нибудь папочку.

– Но она, эта папочка, наверное, как-нибудь называлась?

– Почему вы думаете, что она обязательно должна как-нибудь называться?

– Разве у вас есть хотя бы одна папка, которая не имеет никакого названия?

Краюшкин дергается что-то сказать.

– Ну ладно, – останавливает его замминистра. – Ты же видишь, он все понимает.

– Правильно вы заметили, – говорю, – он все понимает. Во всяком случае, кое-что понимает. Обмануть его, конечно, можно, но для этого надо как-нибудь постараться, а не так вот просто.

– Но, надеюсь, про меня вы не думаете, что я с вами хитрю?

– Как вам сказать? Откровенно говоря, я был бы очень удивлен, если бы на вашей должности обнаружил бесхитростного человека.

– Тем не менее лично я вас обманывать не собираюсь. Я вообще пришел из МВД.

– А разве вы не конструктор?

– Нет. А почему вы думаете, что конструктор?

– Так мне показалось. Но извините. Значит, вы пришли из МВД, и что?

– Я пришел из МВД, и на мне грязи нет. И мне незачем скрывать те безобразия, которые здесь творились. И мы не скрываем. У нас нет никаких секретов.

В это утверждение я тоже позволил себе не поверить: секретная служба без секретов – это абсурд.

– Но я, – сказал я Фролову, – во все ваши секреты проникать не собираюсь. Меня в настоящий момент интересует только собственное досье. Если оно даже и правда уничтожено, то следы того, как КГБ работало со мной, должны оставаться в каких-то других документах.

Краюшкин иронически улыбается.

– Видно сразу, что вы не понимаете принцип хранения секретных документов. Секретные документы одного назначения, во избежание утечки, всегда складываются в одну папку, а не в десять.

– Да-да, – подтверждает чистый Фролов, – именно так. Всегда в одну папочку.

– Этого не может быть, – говорю я. – Никак не может быть. Каждое дело обязательно с другими делами так или иначе пересекается. Кроме того, есть какие-то побочные документы, распоряжения, например, направить на слежение за объектом «Гранин» таких-то людей (фамилии), выделить столько-то автомобилей (номера), выдать талоны на бензин (количество литров), выписать на отравление «Гранина» шестьдесят граммов крысиного яду. Или что-нибудь в этом духе. Что же, я вас буду учить? Ну, например, вот комната в «Метрополе» номер 480. Ведь она где-то у вас в каких-то бумагах тоже фигурирует. Ее же снимали, оплачивали, оборудовали. Неужели все это было

вложено в папочку «Гранин» и там сгорело?

Василий Алексеевич улыбается:

– Поверьте, здесь вас никто обманывать не собирается. Мы в прошлом не виновны и в сокрытии его не заинтересованы.

– Если не заинтересованы, поройтесь в ваших архивах или давайте я пороюсь. Уверяю вас, я очень быстро найду то, что нужно. А если не можете найти нужные документы, вызовите людей, о которых я написал, их-то, я надеюсь, вы еще не сожгли.

Тут и Фролов и Краюшкин оба замахали руками.

– Что вы говорите? Это же было так давно! Где мы этих людей найдем? Да они же наверняка представлялись не своими фамилиями (как будто я думал, что своими). А сколько им было лет? Ого! Да они если даже и живы, давно уже на пенсии. Не только Петров, но и Захаров. У нас работа вредная, у нас рано на пенсию уходят. В пятьдесят пять лет. (Вот как им вредно было с нами работать. Им пенсию за нас дают рано, а нам за них нет.) Ну, где, где их искать?

Бесхитростный Фролов сделал честное лицо и изобразил ужимку, означающую, что он готов хоть сейчас лично отправиться в сложный поиск, но где же, где же ориентиры?

– Если вы сами не знаете, где искать этих людей, мне придется вам подсказать. Хотя мне даже неудобно. Я ведь никаких сыщицких школ не кончал. Это вы их кончали. Так вот, найти этих мерзавцев можно многими способами, и первый, который мне, невежде, сразу приходит в голову: через отдел кадров. Там же личные дела ваших сотрудников хранятся, или и их сожгли?

– Неужели все личные дела перебирать?

Даже для начинающего милиционера вопрос слишком наивен.

– Зачем же все? Я повторяю: главный из моих отравителей сказал, что он начальник отдела. Я думаю, что он в такой приблизительно должности и пребывал. Может быть, чуть-чуть повыше. Если вы попробуете выяснить, кто занимался диссидентами, кто занимаемся писателями и, в частности, мной в мае 1975 года, то в конце концов у вас останется одна, две, ну три максимум кандидатуры. Дайте мне фотографии, и я тех подонков обязательно опознаю. Я их очень хорошо помню.

В конце концов было обещано, что поиски будут продолжены, хотя и без особой надежды на положительный результат.

Мне ничего не осталось делать, как дать им возможность еще поискать. Хотя я, конечно, предполагал, что поиски зарытой собаки будут идти как можно дальше от места возможного захоронения.

Раз уж я сюда попал, я спросил, нельзя ли заодно поискать дело моего отца, который пять лет, с тридцать шестого по сорок первый, сидел. Тут они все трое охотно откликнулись: искать дело отца им гораздо приятнее, чем мое собственное.

– Но при этом вы, пожалуйста, не думайте, что одни поиски можно заменить другими и тем меня удовлетворить. Дело отца я бы очень хотел посмотреть, но мое собственное мне сейчас намного нужнее.

Да, да, поникли мои собеседники обреченными головами, они меня очень хорошо понимают.

Непоследовательный Сергеев

Нет, правда, всего лишь несколько строк, а смотришь на них, и, как на переводной картинке, проступает изображение. И чем дальше трешь, тем яснее.

От Лубянки до дома (у метро «Проспект Мира») я шел пешком, по дороге разглядывал полученные бумаги, думал и понял, откуда взялся «Гранин». В шестьдесят девятом году в журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне) была опубликована первая часть «Чонкина», отчего пошли первые крупные неприятности, откуда, конечно, и псевдоним. Значит, и дело должно было быть заведено примерно тогда же.

Вторая бумага тоже была интересной. Оказывается, новое дело (четыре тома) было заведено во время моего первого приезда из-за границы. Я приехал в марте восемьдесят девятого, пробыл здесь два месяца, и к концу моего пребывания они открыли новое дело, тем самым показав, как они понимали перестройку и какой демократии собирались служить. А я-то думал: надо же, какая свобода! Что хочешь, то говори!

Я тогда так расслабился, что в одном журнале спросил: а где тут у вас можно две страницы моей статьи скопировать? Они сначала оторопели – эвон у иностранца какие привычки, копию ему надо сделать! – а потом засуетились: сейчас, сейчас, у Верченко подпишем, у Кобенко завизируем и – сколько вам копий? Одну? Две?

Я думал – свобода. По клубам выступал, по улицам ходил, язык за зубами не держал, и, оказывается, совершенно напрасно – труженики невидимого фронта уже клепали на меня новое дело. Правда, в акте сожжения написано, что там в основном материалы радиоперехвата, но кто заподозрит чекистов, что они обязательно напишут правду? А что сказать о времени сожжения? 20 августа 1991 года, на второй день путча, сжигались бумаги только потому, что не представляют оперативной и исторической ценности? Есть ли на свете хоть один простак, который в эту глупость поверит? Я бы еще поверил, если бы 20 августа они жгли все подряд, но если выборочно, то, без сомнения, только то, что содержало самые жгучие их тайны. Речи по радио «Свобода» или мои выступления перед московской публикой 1989 года вряд ли были достойны первоочередного внимания.

А еще вот что. Помните, кто подписал второе постановление? Подполковник Сергеев. А чья закорючка украшает постановление, вынесенное в сентябре 1990 года? Да все того же Сергеева. Значит, в девяностом году одно дело он уничтожал, а второе

продолжал пополнять. Для чего?

Оставим этот вопрос открытым.

Придя домой, я позвонил Краюшкину и сказал, что по моим сведениям псевдоним «Гранин» был мне придуман в шестьдесят девятом году. Таким образом я хотел внушить ему мысль, что имею доступ к иным источникам.

Хочешь, я расскажу тебе про свою семью?

– Вы попались! – сказал я Сереге, выделенному мне в качестве инстанции, через которую можно задавать вопросы и получать ответы.

– Что вы имеете в виду? – спросил он.

– Объясняю. То, что вы мне будете говорить, я обязательно опишу. С максимальной точностью. То есть как вы скажете, так точно я и запишу. Вы при этом можете обманывать меня сколько хотите. Но обмануть и меня, и всех читателей, вы же понимаете, вам не удастся. Значит, Сергей Сергеевич, что? У вас есть выбор из трех вариантов. Вариант № 1. Вы признаете, что я прав, и показываете мне соответствующие документы. Вариант № 2. Вы говорите, что я не прав, и мою неправоту подтверждаете документами. Разумеется, не фальшивыми, фальшивые в любом случае будут разоблачены. И вариант № 3, который вы уже задействовали. Вы будете врать, но тем самым докажете, что я прав. Вариант № 4 попробуйте сами изобрести.

Должен отметить, что Сергей Сергеевич человек умный, он понимает, что и я кое-что соображаю. И помимо прямой полемики вводит в оборот тонкий подтекст. Я, например, говорю, что мои отравители в связи с моим делом были наказаны. Он сразу улавливает, что здесь спрятано косвенное доказательство, – раз наказаны, значит, было за что. И, проведя, видимо, маленькое исследование, в следующий раз мимоходом бросает, что нет, они наказаны не были. Все мои соображения, как я понимаю, Серега честно переправляет по инстанции. А потом получает ответ и передает его в своей обработке.

Между прочим, дело моего отца, заведенное в тридцать шестом году, отыскалось. Разыскать дело было трудно, но Серега, проведя большую работу, обнаружил его почему-то в Ташкенте. Хотя велось оно в свое время в Москве и в Душанбе. Где бы ни было, а все-таки не пропало. Оперативной ценности оно больше не представляет (объект операции следователям уже недоступен), насчет исторической не знаю, а почему-то все-таки не сожгли. Две папки документов были доставлены в Москву, и два дня в кабинете Нагина я с ними знакомился. Документы эти стоят отдельного описания, которое и будет исполнено за пределами этой работы.

Пока я читал документы и делал мелкие записи, Серега заваривал кофе (ничего туда, похоже, не подсыпая) и рассказывал

мне о себе.

Родился он в 1956 году (как раз когда я приехал в Москву пробиваться в писатели). Кончил (коллега) педагогический институт, лингвист (а не конструктор), здесь занимался графологией, кроме того, был контрразведчиком, я не понял: сначала графологом, а потом контрразведчиком или наоборот. И где, кстати, он учился на контрразведчика? В пединституте или самообразованием постигал? Рассказывал о своей семье, от которой сильно оторван работой. Приходится очень много заниматься реабилитационными делами, поисками пропавших американских летчиков и много еще чем по принципу «никто не забыт, ничто не забыто». Домой приходит поздно, уходит рано, дети его совсем не видят, уже младший сын старшего папой зовет.

Говоря о семье, вдруг спохватывается и смеется: «Ах да, я забыл, вам уже говорили: «Хочешь, я расскажу о своей семье».

«Да, – говорю, – правильно, именно так говорили. А еще говорили, мы, мол, совсем не такие, как раньше, мы вообще по профессии инженеры-конструкторы и сюда попали случайно».

Так вот время проводим в шутках.

О недавнем прошлом своей организации Серега сокрушается. Был здесь всего лишь один очень плохой отдел, а из-за него у всего КГБ такая ужасная репутация. Ну те «орлы», из 5-го управления, примитивные были люди, топорно работали и грубые слова говорили. А ведь словом можно убить человека.

– Ну да, – говорю, – можно словом. Но еще надежнее бутылкой. Как, например, Константина Богатырева. Вы слышали про Богатырева?

– Нет, не слышал.

Иногда сам между делом интересуется подробностями моей биографии: «А у вас за границей с ЦРУ не было контактов? Правда, не было?»

Иногда он мне советует про все просто забыть.

– Что было, то было, – говорит он философски, – чего там зря прошлое ворошить?

– Понимаете, Сергей Сергеевич, – пытаюсь я объяснить, – многие люди всегда меня считали честным и правдивым человеком. За что мне иногда приходилось претерпевать разные жизненные невзгоды. За это же ваши люди меня отравили, да еще подрывали мою репутацию, изображая меня чокнутым и лгуном. А мне моя репутация так дорога, что я уступить ее вам никак не могу.

Кроме встреч в кабинете мы время от времени переговариваемся по телефону. Серега всегда начеку:

– Владимир Николаевич, а что это у вас там в телефоне шуршит? Вы магнитофон, что ли, включили?

– А почему это вас беспокоит? Вы же со мной не тайно разговариваете.

Тайно не тайно, но бдительность не ослабляется. Поскольку мы на время связались одной веревочкой, я решил пригласить Серегу на свой телевизионный вечер в Останкино. Он пригласительный билет взял, но не пришел. Я спросил почему. Серега честно объяснил: начальство не рекомендовало. Поскольку выступающий известен своим вздорным характером (даже о том, что его отравили, не может никак забыть), от него можно ожидать любой экстравагантной выходки. А вдруг, вперив свой взор со сцены и выставив вперед указательный палец, завопит: вот он, кагэбэшник проклятый, тащите его и вяжите. И это при всем народе, при свете юпитеров, под прицелом всех телекамер…

– Слушайте, – говорю я, – а правда, что ваш министр очень большой виртуоз по части тирки спины начальству?

Что касается магнитофона, то я его не включаю. Мне играть в шпионы не интересно, да и не нужно. Маленький диктофон я приношу на Лубянку, чего не скрываю. Переписывать отцовское дело трудоемко, я кое-что наборматываю на пленку.

Через пару недель после нашей первой встречи в КГБ Серега принес мне домой вот что:

СПРАВКА

1 октября 1973 года 5-м управлением КГБ СССР было заведено дело оперативной проверки № 3385 на Войновича Владимира Николаевича.

Материалы этого дела 3 марта 1977 года приобщены к вновь заведенному делу оперативной разработки № 11049 на Войновича В.Н.

Указанное дело оперативной разработки в 10 томах уничтожено 10 января 1991 года управлением «3» КГБ СССР.

Центральный архив Министерства безопасности Российской Федерации (круглая печать)

«31» марта 1992 года

Подписи – никакой.

Чуть ли не всю жизнь у меня была репутация человека доверчивого, иногда даже слишком доверчивого, а тут восстал во мне Станиславский и говорит: не верю!

С 1966 года, повторяю, подписывал я всякие письма, в шестьдесят восьмом толокся среди диссидентов у здания, где судили Гинзбурга и Галанскова, в том же году стал одной из жертв идеологического постановления ЦК КПСС, когда были запрещены все мои вещи и по всей стране (в некоторых случаях с большим скандалом), закрывались спектакли по моим пьесам. В семидесятом году меня допрашивали в прокуратуре по делу Андрея Амальрика, два года спустя в Лефортовской тюрьме по делу Якира. В шестьдесят девятом году в «Гранях» был напечатан «Чонкин», в семидесятом я за это получил строгий выговор. Неужели все эти годы никакой материал на меня не собирался и ни в какую папочку не складывался? Это в нашем-то полицейском отечестве?

Но сомнений в данных, отраженных справкой, я ее составителям решил не выражать. Главным моим интересом было все-таки отравление в «Метрополе».

3 апреля я записывал свое телевыступление перед публикой в студии Останкино, а четвертого уехал в Германию.

Приехав через месяц, опять знакомился с делом отца и этой частью работы удовлетворен полностью. В это же примерно время на приеме у английского посла встретил Вадима Бакатина. Спросил его, думает ли он тоже, что дело мое сожжено, он сказал: «Да, да, я сам лично проверял, ваше дело действительно уничтожено».

Может быть. Хотя, насколько мне известно, Вадима Викторовича в бытность его председателем КГБ подчиненные обманывали так же, как меня. Может быть, чуть потоньше. Дело можно сжечь, и прах его развеять по ветру, но все следы преступления убрать невозможно, их должно быть слишком много.

Нам показалось

Во время работы с делом отца Серега сказал мне, что меня скоро пригласят к начальству, кое-какая работа проделана, люди, о которых речь, разысканы, оба живы-здоровы, один последние годы служил в Караганде, там дослужился до генерала, вышел на пенсию, другой продолжает нести свою службу, он допрошен, все полностью выяснено.

– И что именно выяснилось? – спросил я.

– Владимир Николаевич, вам все скажут, но что касается того дела, то теперь ясно, – разводит руками и улыбается, – вам просто показалось.

– Правда? – Один человек (будет скоро назван) еще в 1976 году убеждал меня, что мне показалось, но он был детектив-любитель, а Серега, хотя и с педагогическим образованием, ничего не скажешь, профессионал.

– Конечно, показалось, – говорит Серега, улыбаясь смущенно. – Это понятно, Владимир Николаевич. В такой ситуации любому могло показаться. А впрочем, что я буду говорить. Скоро вы во всем сами убедитесь.

Я не стал спорить. Решил подождать. Повторяю, я был готов узнать и подтвердить любую правду. Сразу бы не поверил, но, поверив, отрицать бы не стал.

Чаепитие на Лубянке

Вот наконец Серега позвонил и сказал, что руководство ждет меня в понедельник 8 июня.

В понедельник я прийти не мог, был в Риге. Вернулся во вторник, девятого. Позвонил Краюшкину. Оказалось, он и есть руководство. Договорились встретиться. В два часа я подошел к пятому подъезду, где меня ждал Нагин. Прошли в кабинет Краюшкина, просторный, с длинным столом для совещаний, с теми же портретами Ленина и Дзержинского на стене.

Мрачный неулыбчивый майор, очевидно секретарь Краюшкина, принес нам по чашке крепкого чаю. Я подумал, не предложить ли из озорства Краюшкину поменяться чашками, но решил этого не делать, понял, что шутка будет воспринята слишком всерьез.

– Ну вот, – торжественно прижмурил глазки Анатолий Афанасьевич, – мы для вас, Владимир Николаевич, поработали и вот что нашли.

На этот раз в папке лежала уже целая пачка бумаги, листов, может быть, тридцать. Какие-то выписки, которые Краюшкин хотел мне прочесть вслух, но потом дал все же в руки, хотя переписывать не позволил. Выписки были, как я понял, из ежемесячных отчетов, очевидно, этого самого пятого управления КГБ высшему руководству.

Времени на прочтение их у меня было немного, к тому же два собеседника сидели над душой и не уставали мне что-то рассказывать (Краюшкин о том, как во времена застоя спасал своего бывшего учителя от наказания за то, что тот одобрительно отзывался о загранице), так что изучить читаемое не было никакой возможности, да, впрочем, это было и не столь интересно.

В выписках много того, что в народе называется туфтой. То есть заведомое преувеличение объема и качества проделанной работы. В данном случае, для того чтобы удовлетворить начальство, надо представить ему, с каким важным и опасным врагом они имеют дело. Например, сообщается об усилиях по раскрытию псевдонимов, под которыми я печатался на Западе, хотя я ни на Западе, ни на Востоке никогда псевдонимами не пользовался, не считая очень короткого периода в 1959 году. Тогда, работая в многотиражке «Московский водопроводчик», я часто подписывал свои фельетоны фиктивными именами или именами своих друзей. (Наиболее часто употреблялся псевдоним «О. Чухонцев», после чего иногда приходили опровержения типа:

«Товарищ Чухонцев не вник, товарищ Чухонцев не разобрался, товарищ Чухонцев пренебрег мнением партийного руководства». Я пересылал эти отзывы Олегу Чухонцеву и на редакционном бланке писал, что, если товарищ Чухонцев не сделает определенных выводов, редакция будет вынуждена от его услуг отказаться.)

Отчеты общие. В некоторых случаях моя фамилия (вернее, кличка) должна стоять рядом с другими, но вместо других – многоточия. Выглядит это примерно так: «… марта «Гранин» встречался с… и имел с ним беседу о…» Впрочем, вот и реальная фамилия упомянута, а я ее вымышленной заменю, ну, допустим, Коробкина.

Я сначала удивился, что еще за Коробкина?

Потом вспомнил.

Глаза, глаза, везде глаза

Если не ошибаюсь, в семьдесят четвертом году пришло (с оказией, естественно) известие от Наума Коржавина, что в Москву, с коротким визитом прибывает Беатрис Коробкина и ее следует принять хорошо. Сочетание имени и фамилии меня заинтриговало, я стал ожидать не то чтобы с нетерпением, но с любопытством, представляя себе некую тощую старуху из первой эмиграции, нет, конечно, не княгиню и не графиню (титулованных особ с такими фамилиями не бывает), но, может быть, вдову какого-нибудь деникинского или врангелевского полковника (почему-то именно полковника), говорящую на хорошем старомодном русском языке с американской интонацией.

Потом были междугородный звонок и несмелый мужской голос: «Чи вы нэ знаетэ, когда приедет тетя Триша?» На мой вопрос, а кто ее спрашивает, было отвечено: «Родичи с Армавира».

Теперь воображаемый образ Беатрис слегка сместился в сторону вдовы какого-нибудь казачьего есаула.

Впрочем, я ни о какой Беатрис не думал, когда в телефонной трубке возник однажды сиплый и встревоженный женский голос, который сказал:

– Валодья, я есть Триша. Хади на мена.

В тон ей я спросил:

– Куда на теба хадить?

– Хотел Юкрэйн.

– Кто хотел? – не понял я.

– Хотел Юкрейн, – повторила она, и я, слегка поднапрягшись, понял, что «хотел» это отель, а «Юкрейн» – «Украина», куда меня и просят прибыть как можно скорее.

Я приехал на такси, поднялся на какой-то этаж, нашел нужную комнату, там было несколько американок и среди них одна, лет сорока, высокого роста и совершенно невероятных объемов, какие были нередки среди американцев в те времена, когда они в огромных количествах пожирали попкорн (особенно в кинотеатрах) и еще повально не озаботились подсчетом калорий на этикетках.

Не знаю, то ли я ей был предварительно отрекомендован как свой человек, то ли состояние было такое, но Триша кинулась ко мне, словно к родному:

– Ой, Валодья, я так не уметь, я так не хотеть. Тут везде глаза. Глаза, глаза, везде глаза.

Что еще за глаза? Оказывается, глаза, которые смотрят на нее из-за всех углов.

«О боже! – подумал я. – Не успела приземлиться, а уже мания преследования».

Было странно, что такое большое существо и так беспокоится о каких-то глазах.

Триша приехала на неделю с группой туристов, и я стал ее успокаивать, что, как члена группы, ее никто не посмеет тронуть. Это был бы слишком большой международный скандал.

Потом предложил ей поехать к нам.

Она вытащила из-под кровати две огромные сумки с застежками-«молниями», одна сумка, синяя, была для нас и наших друзей, а другая, черная, с нарисованным на ней тигром, для родичей «с Армавира».

В гостинице «Украина» лифты просторные, но в дневные часы набиты бывают битком. И в нашем, пока мы в нем спускались, уплотнение с каждым этажом нарастало. Триша, оказавшись зажатой посередине, с откровенной подозрительностью разглядывала всех стоявших вокруг нее.

Не оставила своим подозрением и шофера такси, который нам тут же попался, как только мы вышли наружу. Он оказался лихач, каких за пределами нашей страны я потом ни разу не встречал. Он так несся по всей Москве и с таким визгом лысых шин поворачивал, что Триша приняла его за коммунистического камикадзе, который решил сам погибнуть, но и эту представительницу американского империализма угробить (я в этом раскладе вообще был не в счет). Не желая смиряться с уготованной участью, Триша всю дорогу визжала и хватала меня за руку.

Дома из содержимого синей сумки, вываленного на пол посреди моей комнаты, образовалась целая гора всякого барахла, где, кроме прочего, было несколько норковых шкурок. Кто-то из новых эмигрантов, желая помогать материально своим невыехавшим родственникам или друзьям, открыл, что шкурки, которые стоят в Америке три доллара штука, можно с большим прибытком продавать здесь. Наум Коржавин значительную часть своих скромных доходов тратил тоже на эти шкурки, посылал детям и друзьям, в их числе и нам, которые, по его представлению, нуждались в материальной поддержке. Принимать это барахло было неловко, а что делать, если власть обрезала все пути к легальным заработкам и костлявую руку голода избрала одним из главных своих помощников в борьбе с инакомыслием?

Писатели, художники и ученые (иногда выдающиеся),

отстраненные от всех возможностей заработать на кусок хлеба, принимали подарки, а порой и собственные гонорары (которые официально не проходили) разными вещами, как-то: приемники, магнитофоны, часы, калькуляторы, ну, и носильные вещи, стыдясь своего униженного состояния и становясь потом жертвами фельетонистов, измывавшихся над отщепенцами, что продают родину за джинсы, дубленки и даже (как было написано про Юрия Орлова) за кальсоны.

Был период (к счастью, короткий), когда мы тоже получали подарки для продажи через комиссионку, но потом у меня оказались какие-то (даже приличные) гонорары в долларах, которые я обменивал на рубли по тогдашнему (казавшемуся очень выгодным) «черному» курсу один к четырем, так что потом все диссидентские годы мы нужды не знали и за чужой счет не жили.

Триша рассказала, что в аэропорту содержимое ее сумок было осмотрено очень тщательно, каждую тряпку таможенники подробно прощупывали, но бывшего при ней письма Коржавина не нашли. Теперь оно было вручено адресату, то есть мне, и из него я узнал, что Триша – жена Вани Коробкина, простого русского мужика, который в свое время сапожничал в Армавире, а теперь тем же самым занимается в Бостоне. А в промежутке были война, плен, власовская армия, лагерь перемещенных лиц и перемещение в Америку, полное приключений. (Тогда, между прочим, прочтя коржавинское письмо, я и подумал: вот она, возможная судьба Чонкина.)

Ванино власовское прошлое, наверное, и было причиной внимательного наблюдения за Тришей.

Триша была учительницей в средней школе и получала зарплату по тем временам хорошую – семьсот долларов в месяц. Ваня тоже зарабатывал неплохо. У них был свой дом, две машины и… она охотно перечисляла свое имущество, в котором очень важное место занимала почему-то софа.

Все русские сумасшедшие. Ваня говорит: хочу на родину. Прогоним коммунистов, сразу вернусь домой.

Она говорит: куда ты вернешься, куда поедешь? Здесь у тебя дом, машина, софа, а там что?

У меня к тому времени была описанная в «Иванькиаде» двухкомнатная квартира, хорошая, некоторые американцы говорили, что такая на Манхэттене стоила бы (тогда) сто тысяч долларов.

– Сколко комнатов? – спросила Триша. – Два? – И сделала презрительную мину. – У меня восемь. Два левела [11], восемь комнатов.

Она никак не могла понять этих русских и меня спрашивала:

– Валодья, почему вы не захочешь иди на Америка?

Я ей объяснял (не очень серьезно): родина, родная речь, березки. Она фыркала: «Думаешь, в Америка нет березка? В Америка есть все. В Америка есть дуб, есть секвойя, палма, береза – все есть».

Ей не нравилась группа, с которой она приехала, ее не интересовала программа, предложенная Интуристом: Кремль, ВДНХ, Елоховский собор, Архангельское, Загорск и что-то еще. Кроме того, каждый выход за пределы нашей квартиры давал новую вспышку мании преследования. Но, проведя у нас целый день, она успокаивалась и мягчела. На ночь я отвозил ее в гостиницу, а утром, когда приезжал, она выскакивала из номера в ужасе. Опять ей мерещились «глаза, глаза, везде глаза».

На третий день после ее приезда появилась и представительница «родичей с Армавира», дочь Ваниного брата Нина, молодая блондинка в лыжном костюме, с комсомольским значком на плоской груди.

Сумку с тигром Триша Нине почему-то сразу не отдала. Но днем они вместе ходили в магазин «Березка», где для Нины и ее семьи была закуплена уйма разных подарков, в том числе и книга «Мастер и Маргарита», в то время мало кому доступная. Потом, уже у нас дома, Нина с вожделением перебирала покупки, а «Мастера и Маргариту» протянула мне: «Возьмите, это нам не нужно».

Недооценивая тетины познания в русском, Нина говорила прямо при ней: «Она некультурная. Ничем не интересуется. На выставку достижений не хочет, в метро не идет…»

Триша смотрела куда-то в сторону, словно не слушала и не слышала, но вдруг вставляла: «Сабвей из сабвей»…

Нину эти вставки не смущали, она продолжала обсуждать недостатки Триши при ней, словно она глухая.

– Ничего не хочет. Она ж училка, ей предлагают школу образцовую осмотреть, шо вы думаете? – отказалась…

– Скул из скул, – пробурчала Триша.

– Они вообще отсталые, – продолжала Нина. – Дядя Ваня тоже совсем чеканулся. В бога верует, вы представляете?

Триша вдруг заволновалась, вызвала меня в коридор и возбужденным шепотом вопросила:

– Валодья, шьто, Нина тоже есть камьюнист?

Я сказал, что да, это вполне возможно. Она в ужасе всплеснула руками. Я спросил: «А что вас удивляет? Разве вы не знали, что в этой стране есть коммунисты?» – «Ай-я-яй! – Триша схватилась за голову. – Хочу летай дом, Америка, Бостон».

Вечером Нина уезжала назад в Армавир. Когда пришло вызванное такси, я, собравшись помочь Нине, взялся за две сумки, но Триша вдруг подскочила ко мне и сумку с тигром вырвала.

– Разве это не для Нины? – спросил я.

– Нет, нет, – сердито сказала Триша, – это не для Нина, это я знаю для кто.

Возникло некоторое замешательство. Усадив Нину в такси, я поднялся к себе и услышал от Триши, что она не хочет таскать через океан вещи для коммунистов и просит меня отдать их кому-нибудь из диссидентов.

В ту ж ночь в гостинице у нее разыгрался тяжелейший приступ астмы. Должно быть, на нервной почве. Ира по ее звонку приехала к ней, вызвала врача, тот явился с огромным шприцем. Триша следила за его действиями с ужасом, предполагая, что сейчас ей вкатят цианистый калий или проколют этим шприцем насквозь.

Уколы (их было несколько) давали только временную передышку, состояние больной ухудшалось. Она уже не могла к нам ездить, но и в гостинице оставаться боялась. Поэтому Ира, оставляя ребенка со мной или с бабушкой, приезжала к Трише, дежурила у нее в номере. Накануне отлета я пришел к ней, она, лежа на спине, задыхалась, закатывала глаза и вообще была синяя. Я спросил, может быть, попробовать переменить билет на более позднюю дату. «Ноу! – просипела она в ужасе. – Мэйби я умирай, но я умирай ин американская аи-роплэйн».

Потом я часто рассказывал о смешной толстой [12] американке, которой по приезде в Москву всюду мерещились «глаза, глаза», а теперь, читая гэбистские отчеты, узнал (но не удивился), что мерещенье это было прямым отражением яви.

Лицо жар-птицы

В тех же, кажется, выписках мелькнуло один раз имя другой американки, Виктории Шандор. Я и в этом случае не сразу сообразил, о ком речь. А когда сообразил, вспомнил, как вскоре после метропольского приключения кто-то из знакомых передал салатного цвета и не нашего производства тонкую книгу, на обложке которой была фамилия автора – Алла Кторова и название «Лицо Жар-Птицы». Я тоже думал – старая эмигрантка, а прочтя, увидел, что это о нашей если не сегодняшней, то вчерашней московской жизни, тонко, со вкусом, с деталями, нюансами и с ностальгией по исчезнувшей с лица Москвы улице Соломенная Сторожка.

Я прочел книгу, написал несколько одобрительных строк автору, получил радостный ответ, а вскоре объявилась и сама Алла Кторова (настоящее имя Виктория Качурова), женщина по тем временам необычной и романтической судьбы.

В пятидесятых годах, будучи переводчицей Интуриста, она встретила, полюбила и была полюблена известным американским летчиком, героем войны, с большими трудностями оформила брак и с огромным скандалом покинула родину, по которой потом всегда скучала. Теперь явилась с подарками, с письмом Косте Богатыреву от Романа Якобсона (который знал адресата с момента его рождения в Праге пятьдесят лет назад), с желанием общаться со всеми моими друзьями и с просьбой пригласить в гости друга ее детства Шуру Межирова. По случаю приезда столь именитой гостьи был, конечно, закачен пир горой с присутствием постоянных участников наших застолий Сарновых, Корниловых, Богатыревых, моего нового друга Вали Петрухина и – по желанию гостьи – поэта Александра Межирова.

О Вике все уже были весьма наслышаны и теперь расспрашивали наперебой, как и где она нашла этого летчика, сколько в ее квартире комнат, какой длины у нее машина и неужели правда, название ее улицы состоит из одной буквы «О»? Костя радовался письму не забывшего его Якобсона (которого между тем, как и всех прочих структуралистов, называл говноедом), был восхищен знакомством со столь необыкновенной иностранкой, выражал желание продолжать общение путем переписки и, будучи в ударе, рассказывал свои «швейковские» истории, которые с ним случались не реже, чем с Гришкой Агеевым.

Одна случилась сравнительно недавно: ему вдруг пришла из военкомата повестка – явиться для прохождения медицинской

комиссии. Костя, будучи пуганой (и сильно) вороной, от властей ничего хорошего не ожидал, а от военкомата тем более. Обычно он волновался, что его рано или поздно посадят досиживать неотбытый двадцатипятилетний срок, а тут забеспокоился, что забреют в армию. И поехал держать совет к своему другу Геннадию Снегиреву. Тот уловил проблему с полуслова и посоветовал «косить на психа»:

– Пойдешь в военкомат, возьми с собой большое блюдо. Ты придешь, они тебя спросят: «Зачем блюдо?» Ты скажи: «А просто так». Я, например, в военкомате перед стенгазетой, как перед зеркалом, причесываюсь.

Блюдо Богатырев не взял и причесываться перед газетой постеснялся. Прошел терапевта, хирурга и рентгенолога и, наконец, явился в кабинет психиатра.

– Захожу, сидит такая пышная дама, я еще дверь не успел открыть, а она уже кричит: «Только не вздумайте строить из себя психа». А я, говорю, и не думаю. Она смягчилась: «Садитесь, на что жалуетесь?» Ни на что не жалуюсь. «А почему у вас руки дрожат?» А руки, говорю, у меня потому дрожат, что меня однажды приговорили к смертной казни. «Вас? К смертной казни? За что?» За террор, говорю. «Что вы выдумываете? Какой еще террор?» Террор, объясняю, это когда кто-нибудь кого-нибудь убивает. «И вы кого-то убили?» Нет, я только собирался убить Сталина. Она как услышала слово «Сталин», сразу притихла и стала что-то писать. Написала, подняла голову и спрашивает: «Значит, вы не хотите ехать на терсборы?» – «Терсборы? – переспросил я в ужасе. – Это что же? Сборы террористов?». Она посмотрела на меня, вздохнула и говорит: «Идите, вы свободны». Так я на терсборы и не попал и только потом узнал, что это территориальные сборы.

После Костиного рассказа начался всеобщий галдеж, а Межиров вполголоса стал мне рассказывать о своей поездке в Индию и о том, как, будучи в Дели, купил журнал «Континент» и в гостинице прочел не отрываясь мой рассказ об отравлении в «Метрополе».

– Я, – сказал он, как всегда заикаясь, – б-был просто п-п-потрясен. Замечательно написано, удивительная ты-точ-ность деталей. И вы знаете, что я п-по-нял?

– Что? – спросил я нетерпеливо, готовый услышать ослепительную догадку.

– Я п-п-понял, что ничего этого не было.

– Как не было? – удивился я. После всех высказанных похвал вывод был слишком уж неожиданный.

– А вот так, не было.

– Вы хотите сказать, что я все это выдумал?

– Ни в коем случае. Вы ничего не выдумали, но у вас оч-чень развито х-художественное воображение.

Тем временем общий разговор уже свернулся на популярную и тогда тему, что в этой стране жить попросту невозможно, и гостье были заданы вопросы, еще не подразумевавшие никаких серьезных намерений, но и не из праздного любопытства: а можно ли там жить на гонорары, и трудно ли выучить английский язык, и действительно ли в Нью-Йорке большая преступность, и сколько приблизительно стоит подержанный «Кадиллак».

Гостья разволновалась и стала страстно всех убеждать:

– Не надо никуда ехать. Вы что? С ума сошли? У вас так хорошо! У вас такое глубокое эмоциональное, интеллектуальное общение! Вы этого нигде не найдете. Нигде, нигде. Ну будет у вас там дом, машина, большой холодильник, но такого уровня общения вы не найдете никогда и нигде.

Богатырев был потрясен речью Вики и во многом с ней согласился, но, забежав ко мне на другой день, чтобы уточнить ее вашингтонский адрес, сказал:

– В чем-то она, конечно, права, и мне туда ехать не обязательно, но тебе об этом стоит подумать, потому что они тебя здесь убьют.

Недели через три после этого разговора его череп был проломлен тупым предметом, завернутым в ткань.

Под влиянием мнительности

Читая выписки, я нашел в них несколько докладов о принятии мер по недопущению моего общения с иностранцами и к воспрепятствованию передаче на Запад изготовляемых мною клеветнических материалов.

Насчет второго скажу чуть ниже, а общение с иностранцами они иногда предотвращали, и героем самого знаменательного случая был опять Евгений Александрович Евтушенко. Я не виноват, что это имя упоминается в моих записках столь часто, поэт наш сам в свое время постарался (и очень!), чтобы остаться в моей памяти таким, каким предстает на этих страницах.

Так вот. В 1979 году, если не ошибаюсь, летом приехали в Москву именитые американские писатели Вильям Стайрон, Эдвард Олби, кажется, Джон Апдайк и кто-то еще – не помню. Я ими особенно не интересовался, поскольку знал, что они приехали не ко мне. Ира, Оля и я жили в это время на даче, они безвыездно, а я мотался туда-сюда. И однажды в Москве явился ко мне первый секретарь американского посольства Игорь Белоусович [13] и спросил, не могу ли я принять эту делегацию у себя дома. Конечно, я мог. Для меня такая встреча была не просто интересной, но и важной с точки зрения безопасности: признание меня иностранными знаменитостями как-то все-таки защищало меня от слишком уж грубых действий КГБ.

Я поехал на дачу, привез домой дочь и жену, был приготовлен ужин, назначенный на семь часов вечера, с нашей стороны явились все те же Корниловы, Сарновы, Петрухин, мы сидели, как говорится, с мытыми шеями, а заокеанские гости запаздывали. В девять часов мы сели ужинать сами, а в одиннадцатом часу ввалилась большая компания американцев, я пытался понять, кто из них Стайрон, кто Олби, оказалось – никто. Узнаваемым оказалось только одно лицо – Игоря Белоусовича, а все остальные были его коллеги из посольства. На мой вопрос, а где же писатели, Игорь смущенно объяснил, что всех их увел Евтушенко. Он сказал им, что я бездарный писатель, плохой человек, вообще не заслуживаю никакого внимания, увез их в Переделкино и ночью на могиле Пастернака при свете луны поил гостей водкой и читал, завывая, стихи, свои, а не Пастернака.

Бывали и другие случаи отваживания от меня иностранцев. С незнаменитыми обращались попроще: одному прокололи шины, другому, встретив его в подворотне, обещали переломать ноги, одну итальянку (о ней ниже), не разобравшись, в чем дело, стукнули чем-то тяжелым по голове.

А вот доклады насчет передачи мною на Запад клеветнических материалов – это уж чистая туфта. Если они действительно старались воспрепятствовать передаче мною чего-то на Запад, им эту задачу за все годы ни единого раза выполнить не удалось, и трудно понять почему. Изо дня в день они не спускали с меня глаз, днем и ночью за мной ездили по крайней мере в двух автомобилях с четырьмя пассажирами в каждом, следили за мной и за всеми, кто меня посещал. Тем не менее я, будучи не очень-то ловким конспиратором, передал на Запад сотни разных материалов своих и чужих, и всегда беспрепятственно, сам удивляясь тому, что так все выходит. Один только роман Василия Гроссмана (больше тысячи страниц) я переправлял за границу трижды. Почему они ни разу не предотвратили подобную переправку, представить себе не могу, при всем моем низком мнении о них, мне не казалась такая задача для них непосильной.

Отчеты о том, как они со мной боролись, напомнили мне давнюю историю, которую я, может быть, где-то уже пересказывал. Сто с лишним лет тому назад революционер-народник Петр Алексеев после десятилетней каторги отбывал в Якутии ссылку. Однажды в тайге, на пути из одной деревни в другую, он встретил двух якутов, которые убили его с целью грабежа. Преступление оказалось бессмысленным: в заплечном мешке Алексеева не было ничего, кроме краюхи хлеба. Тогда, чтобы извлечь из совершенного дела хотя бы косвенную выгоду, убийцы (они были, конечно, поэтами) сочинили песню, как в дремучем лесу встретили страшного русского богатыря, вооруженного до зубов и, подобно дракону, изрыгающего огонь. Как вступили с ним в неравную схватку и в конце концов одолели. Они исполняли свое сочинение, переходя из деревни в деревню. В одной из деревень полицейский исправник, послушав песню, тут же арестовал сочинителей по подозрению в убийстве. В котором они вскоре признались уже в прозаической форме.

Подобным же сочинительством всегда занимались чекисты, и в моем случае тоже.

Но вот наконец дошел я до самого главного. В отчете за май семьдесят пятого года сообщается, что «Гранин» был вызван для бесед (множественное число), во время которых обещал изменить свое поведение и даже принял меры к приостановке какой-то своей публикации. А дальше цитата (я позвонил специально Нагину и попросил продиктовать мне дословно самый для меня важный абзац): «Гранин» под влиянием своей мнительности, под воздействием Сахарова сделал заявление западным корреспондентам, в котором искаженно изложил содержание

бесед с ним оперработников. Материалы доложены руководству КГБ и управления».

Не знаю, возлагали ли мои собеседники на этот абзац

какие-то надежды, если возлагали, то зря. Потому что абзац ничего не опровергает. Во-первых, никакого воздействия Сахарова на меня не было, наоборот, в данном случае я на него и на Елену Боннэр воздействовал, попросив их на квартире собрать пресс-конференцию. А что касается моей мнительности, то даже здесь сказано, что я всего лишь исказил содержание проведенных со мною бесед. Пусть будет так. Я стенограммы не вел, записывал все по памяти, был, допускаю, не везде и не совсем точен. Но ведь речь идет не о точности передачи бесед, а совсем-совсем о другом. Я этих людей называю преступниками, я их подозреваю в покушении на убийство или по крайней мере в попытке превратить меня в калеку. Но об этом нигде ни единого слова нет.

Когда я высказал свое отношение к этому месту, Краюшкин почему-то занервничал и даже попробовал меня немножко пошантажировать.

– Вы, конечно, можете держаться своей версии, я вас ни в чем не пытаюсь переубедить. Можете печатать что угодно, но ведь и мы могли бы кое-что напечатать.

– Что именно?

– А вот, например, то, что вы обещали изменить свое поведение.

– Ах, это! – сказал я. – Ну, во-первых, это ложь. Я обещал изменить свое поведение, но только при условии, что власти изменят свое. Кроме того, если бы и обещал, было б не стыдно. Стыдно было б сдержать обещание.

Это нервничанье и попытка шантажа доказывают, по крайней мере косвенно, что старые секреты нынешним чекистам все-таки раскрывать очень не хочется.

На этом маленьком столкновении наш спор обессмыслился. Никаких достойных доверия доказательств моей неправоты мне предоставлено не было, а без них о чем же спорить?

В связи с тем, что скатился

Я уже собрался уходить несолоно хлебавши, унося с собой лишь некие новые соображения, когда Краюшкин меня остановил:

– А все-таки мы вам кое-что дадим. – Опять раскрыл ту же папку и вручил мне вот это письмо.

Копия:
Секретно
Экз. № 2
ЦК КПСС
5 апреля 1975
№ 784-А

О намерении писателя В. Войновича создать в Москве отделение Международного ПЕН-клуба

В результате проведенных Комитетом госбезопасности при Совете Министров СССР специальных мероприятий полнены материалы, свидетельствующие о том, что в последние годы международная писательская организация ПЕН-клуб систематически осуществляет тактику поддержки отдельных проявивших себя в антиобщественном плане литераторов, проживающих в СССР. В частности, французским ПЕН-центром были приняты в число членов ГАЛИЧ, МАКСИМОВ (до их выезда из СССР), КОПЕЛЕВ, КОРНИЛОВ, ВОЙНОВИЧ (исключен из Союза писателей СССР), литературный переводчик КОЗОВОЙ.

Как свидетельствуют оперативные материалы, писатель ВОЙНОВИЧ, автор опубликованных на Западе идейно ущербных литературных произведений и разного рода политически вредных «обращений», в начале октября 1974 года обсуждал с Сахаровым идею создания в СССР «отделения ПЕН-клуба». Он намерен обратиться в Международный ПЕН-клуб с запросом, как и на каких условиях можно организовать «отделение» ПЕН-клуба в

СССР с правом приема в него новых членов на месте. В качестве возможных участников «отделения» обсуждались кандидатуры литераторов ЧУКОВСКОЙ, КОПЕЛЕВА, КОРНИЛОВА, а также лиц, осужденных в разное время за антисоветскую деятельность, – ДАНИЭЛЯ, МАРЧЕНКО, КУЗНЕЦОВА, МОРОЗА. ВОЙНОВИЧ считает также, что принимать можно будет «не обязательно диссидентов», но и «молодых писателей, которые заслуживают этого».

Таким образом, ВОЙНОВИЧ намерен противопоставить «отделение ПЕН-клуба» Союзу писателей СССР.

Характерно, что в плакате под названием «Писатели в тюрьме», рассылаемом американским ПЕН-центром, значится в числе прочих и фамилия ВОЙНОВИЧА, о котором в провокационных целях сообщается, что он «заключен в психиатрическую лечебницу», что не соответствует действительности.

В настоящее время ВОЙНОВИЧ встал на путь активной связи с Западом, имеет своего адвоката, гражданина США Л. ШРОТЕРА, ранее выдворявшегося из СССР за сионистскую деятельность. ВОЙНОВИЧ поддерживает контакт с неким И. ШЕНФЕЛЬДОМ, одним из функционеров польского эмигрантского центра «Культура», и с другими антисоветски настроенными представителями эмиграции (СТРУВЕ, МАКСИМОВ, НЕКРАСОВ, КОРЖАВИН-МАНДЕЛЬ), через которых стремится публиковать свои произведения на Западе, а также постоянно встречается с аккредитованными в Москве и временно приезжающими в страну иностранцами.

Парижское издательство «ИМКА-пресс» в феврале 1975 года выпустило в свет на русском языке «роман-анекдот» ВОЙНОВИЧА «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана ЧОНКИНА», в аннотации к которому сообщается, что это «роман о простых русских людях накануне и в первые дни второй мировой войны», что автор передает «трагедию русского народа, обездоленного и обманутого своим «великим отцом». Роман издан в переводе в Швеции и будет издаваться в ФРГ.

Кроме того, ВОЙНОВИЧ вступил в члены так называемой «русской секции Международной амнистии», организованной в Москве ТУРЧИНЫМ и

ТВЕРДОХЛЕБОВЫМ, являющимися активными участниками антиобщественных акций.

В конце января 1975 года ВОЙНОВИЧ заявил ряду западных корреспондентов, что он не имеет возможности печататься в СССР, в связи с чем не может обеспечить свою семью с помощью литературного труда, допустил ряд грубых выпадов против Союза писателей, сказал, что события, происшедшие в творческой жизни в СССР, обусловили его «коллизию с официальной советской доктриной социалистического реализма». ВОЙНОВИЧ подчеркнул, что он не признает полномочия Всесоюзного агентства по авторским правам и сознательно публикует свои произведения на Западе.

С учетом того, что ВОЙНОВИЧ скатился, по существу, на враждебные позиции, готовит свои произведения только для публикации на Западе, передает их по нелегальным каналам и допускает различные клеветнические заявления, мы имеем в виду вызвать ВОЙНОВИЧА в КГБ при СМ СССР и провести с ним беседу предупредительного характера. Дальнейшие меры относительно ВОЙНОВИЧА будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ.

Председатель Комитета
Госбезопасности
АНДРОПОВ

Не знаю, что думали они, готовя мне этот подарок, но он, мне кажется, стал достойным украшением нашей оперативной подборки. Во-первых, он мне напомнил о некоторых моих потугах насчет создания ПЕН-клуба, не пошедших, впрочем, дальше разговоров. Во-вторых, он показывает, насколько все советские инстанции снизу доверху занимались не только дезинформацией противника, но и друг друга.

Я помню уважительные слухи, что КГБ поставляет в ЦК так называемые «объективки», то есть беспристрастную информацию. Я в это никогда не верил. Я всегда знал, что феномен советской системы в том и состоит, что низы лгут верхам, верхи низам и сами от низов требуют лжи. Об этом можно судить даже и по этому письму Андропова. Пытаясь истолковать мои действия в наиболее выгодном для себя свете, он злонамеренность и серьезность моих действий сильно преувеличивает.

Хотя я в те времена говорил с разными людьми (не только с Сахаровым, но и с Генрихом Бёлем) о создании ПЕН-клуба, мы все

пришли к выводу, что дело это нереальное, и на том остановились.

У меня был приятель Игнаций Шенфельд, польский литератор, просидевший в советских лагерях семнадцать лет. До шестьдесят восьмого года мы во время приездов его из Польши встречались несколько раз в Москве, а потом он эмигрировал на Запад, и я о нем долго ничего не слышал. Но в семьдесят четвертом один-единственный раз он позвонил мне по телефону из Германии с советом печатать «Чонкина» в издательстве не «Люхтерханд». а «Шерц», которое больше платит. А Андропов из этого звонка сплел преступную связь с польским эмигрантским центром.

Но заглянем в конец письма.

«С учетом того, что Войнович скатился… мы имеем в виду вызвать Войновича в КГБ при СМ СССР и провести с ним беседу предупредительного характера».

Если бы имелась в виду только беседа (пусть даже с угрозами), председатель КГБ и член Политбюро вряд ли должен был об этом кому-то докладывать. Тут важна заключительная строка: «Дальнейшие меры относительно Войновича будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ».

Вот это оно и есть!

Андропов предупреждает ЦК, что меры против меня будут приняты. Чтобы потом не было лишних недоумений. Решить вопрос о вызове в КГБ мог бы кто-нибудь и намного ниже Андропова. А применить против меня специальные меры террористического характера он сам никогда не решился бы. Об этом надо поставить в известность более высокое начальство и разделить с ним ответственность.

Доставшаяся мне копия сделана с экземпляра № 2.

Думаю, что номером два для Андропова был Михаил Андреевич Суслов, а первый экземпляр был послан человеку номер один, то есть лично нашему дорогому товарищу Леониду Ильичу Брежневу.

Чужие дети растут быстро

Придя к неким доморощенным умозаключениям, я позвонил своему другу, известному юристу, посвященному в мои поиски. Я спросил его, не считает ли он письмо Андропова косвенным доказательством моей правоты и того, что Андропов готовился к каким-то очень необычным мерам против меня. Мой друг сказал, что письмо интересное, возбуждает определенные подозрения, но доказательством все-таки не является. Предварительное извещение ЦК доказывает только, что мой предстоящий вызов считался важным событием, но, может быть, лишь потому, что я был к тому времени, как выразилась тогда же «Немецкая волна», «небезызвестным между тем человеком». Даже рутинный вызов меня в КГБ мог стать причиной некоего шума на Западе, о чем Андропов считал нужным предупредить ЦК.

– Допустим, – согласился я. – Но вот Андропов пишет, что дальнейшие меры относительно меня будут приняты в зависимости от моей реакции на вызов в КГБ. Как ты считаешь, это он написал просто так или действительно собирался принять меры, и если да, то какие?

– Но тебя же выгнали из СССР. Разве это не меры?

– Ты думаешь, меня сразу выгнали?

– А разве нет?

Чужие дети растут быстро. Сколько раз читал про себя в газетах рассказы, как я рассердился, хлопнул дверью и немедленно отчалил на Запад, и с тех пор попрекаю всех, кто примеру моему не последовал. А на самом деле еще и после отравления меня пять с половиной лет выпихивали всякими способами, и в числе прочих самыми безобидными были регулярные визиты нашего придурковатого участкового, который спрашивал меня, почему я нигде не работаю, то есть угрожал обвинением в тунеядстве. На пять почти лет был выключен телефон, было прокалывание шин и еще много чего, включая нападение псевдохулиганов. В 1977 году в горах Бакуриани ко мне и моему другу, физику Вале Петрухину, привязались четыре человека, выдававших себя за местных греков. Началось со встречи в хинкальной, с потчевания вином и с тостами в честь дорогих гостей. Через два дня был затеян спор об идейной ущербности сочинений Солженицына (оказалось, что «греки», живя между скал, творчество Солженицына штудировали, и очень внимательно). Через три дня вечером на идеологической почве состоялась драка, из которой я вышел со сломанной ногой, но и «грекам» одного из своих пришлось увести под руки, сам он идти

не мог. Я никогда в жизни не умел, не любил и не хотел драться, а тем более с применением подручных средств. Но эта драка произошла уже после моего отравления в «Метрополе», после убийства Кости Богатырева, после еще многих событий, которые меня очень ожесточили. Я знал, что передо мной не доморощенные хулиганы, а настоящие бандиты, которые не остановятся перед тем, чтобы искалечить меня и Петрухина или даже убить. И что наше возможное непротивление (на него они, очевидно, очень рассчитывали) было бы для них подарком, которого они не заслужили. Сюжет драки развернулся очень остро, и нападавшим вскоре пришлось подумать, что дело у них казенное, а головы все же свои. И они с проклятиями удалились в темноту – трое, ведя под руки одного. После этого меня физически никто не трогал, но случались нападения на тех, кто меня посещал, и на тех, кто посещал не меня. Итальянская славистка Серена Витали побывала в гостях у моего соседа Виктора Шкловского, а когда вышла и села в троллейбус, была стукнута по голове чем-то тяжелым, завернутым в газету, при этом ей было сказано: «Еще раз придешь к Войновичу, совсем убьем». Для того чтобы читателю этих строк были более или менее понятны условия моей тогдашней жизни, приведу еще один документ из своего эпистолярного наследия.

Министру внутренних дел СССР
Н. А. Щелокову
от писателя Войновича В. Н.

ЗАЯВЛЕНИЕ

14 февраля с.г. к моим родителям в городе Орджоникидзе Днепропетровской области явился милиционер и потребовал, чтобы мой отец немедленно шел вместе с ним в милицию. Пока отец собирался, милиционер обшарил глазами всю квартиру, заглянул в комнату, где после сердечного приступа лежала моя мать, и спросил: «Это кто там лежит? Ваш сын?»

Затем отец, старик с больными ногами, был доставлен пешком в местное отделение милиции, где начальник отделения и какой-то приезжий в штатском

объявили ему, что 3 февраля я пропал без вести и меня, по всей вероятности, нет в живых.

Через две недели после этого известия мать моя умерла.

Теперь я узнал, что сведения о моей смерти работники милиции одновременно распространили и среди других моих родственников, живущих в разных городах Советского Союза.

Между тем никаких оснований для беспокойства за мою жизнь у работников милиции не было и быть не могло, хотя бы потому, что 4 и 5 февраля ко мне приходил участковый уполномоченный и интересовался, на какие средства я живу. О том, что я нахожусь в Москве в своей собственной квартире, было хорошо известно начальнику 12 отделения милиции и тем шпикам, которые круглосуточно толкутся в подворотне моего дома.

Я хотел бы знать, для чего была устроена эта гнуснейшая всесоюзная провокация и кто был тот недочеловек, который ее придумал. Я требую привлечь этого бандита к ответственности, а если он параноик, то подвергнуть его принудительному лечению как социально опасного.

Если я не получу от вас вразумительного ответа в установленный законом срок, я буду считать, что ответственность за эту провокацию вы взяли на себя.

17марта 1978 г. (подпись)

Ответа я, конечно, не получил. Но мне было сделано много намеков, чтоб убирался подобру-поздорову, намеком был и организованный КГБ вызов из Израиля для меня и ближайших родственников, который я изорвал и выкинул в мусор, позаботившись, чтобы они это отметили.

В те времена меня навестила какая-то еврейская активистка с вопросом, не желаю ли я написать какую-нибудь статью для самиздатского журнала «Евреи в СССР». Заодно рассказала, как ее вызывали в КГБ и угрожали, что посадят, если она не убавит своей активности. Я ей сказал, что статью сейчас писать мне некогда…

– … А месяца через два-три почему бы и нет, если за это время вас, или меня, или обоих еще не посадят.

– А вас-то за что? – посмотрела она на меня, оскорбившись, что я ставлю себя на одну доску с нею.

– А вас за что? – спросил я.

– Меня, – сказала она с большим самоуважением, – за то, что я хочу уехать.

– А меня за то, что я хочу остаться.

Но я сильно отвлекся, прошу прощения и возвращаюсь к моему другу-юристу, который, бывши свидетелем моей тогдашней жизни, удивился, что я не сразу после отравления уехал, но все же настаивал на том, что письмо Андропова ничего не доказывает. Ну, собирались принять меры, ну, передумали или отложили на после.

– Но материалы, которые ты собрал, – сказал мне мой друг, – приводят к другому, более серьезному доказательству. Представим себе, что тебя действительно всего лишь вызвали, поговорили, попугали и отпустили. Но ты вдруг устраиваешь такой скандал. Пресс-конференция на квартире Сахарова, открытое письмо Андропову, прямое выступление по «Немецкой волне», публикация в «Континенте». И вот тут уж я не могу поверить, чтобы столь серьезное обвинение не обеспокоило ни КГБ, ни ЦК. И не могу себе представить, чтобы из ЦК не последовало запроса Андропову, а Андропов не вызвал этих людей и не потребовал у них письменного отчета в том, что именно они с тобой сделали. Если твое отравление выдумка, то эти люди, вероятно, доложили бы, что с тобой проведена предупредительная беседа, но никакие специальные средства воздействия не применялись. Такой отчет мог быть не затребован только в том случае, если Андропов знал, что то, что ты пишешь, – правда.

Лапшу на уши

Переварив всю полученную мною информацию, я позвонил Сереге и спросил, как бы мне опять встретиться с Фроловым.

– Владимир Николаевич, – удивился Серега, – а разве вы не поняли, что Василий Алексеевич не хочет с вами встречаться?

– Нет, не понял. А почему же он не хочет со мною встречаться?

– Он считает, что все доказательства вам предъявлены, и отчет об этом будет направлен президенту. Президент дал указание, и мы должны отчитаться.

– Хорошо. Я со своей стороны тоже пошлю отчет президенту и в связи с этим хочу спросить: мне предъявлены доказательства чего? Моей мнительности?

– В общем, да.

– Вы хотите, чтобы и я с вами согласился?

– Это было бы разумно.

Спорить с ним было бессмысленно, но он был передаточное звено и в качестве такового выслушивал меня внимательно, мои аргументы, как я заметил, улавливал и, надеюсь, передавал их дальше без искажений.

– Сергей Сергеевич, – воззвал я к его здравомыслию. – Вы человек умный и, пожалуйста, подумайте вот о чем. Предположим, я вам поверил, и в отчете о своих розысках привел все предъявленные мне аргументы, и написал, что эти аргументы убеждают меня в том, что в семьдесят пятом году меня никто не травил, а вся описанная мною история есть плод моей мнительности. Это будет похоже на правду?

– Мне кажется, что да, – сказал Нагин.

– А как вы думаете, читатели мне поверят?

– Конечно, поверят! – отозвался он охотно и с надеждой.

– Нет, – сказал я, – не думаю. Читатели тоже не дураки. Я с вами спорить больше не буду, но прошу передать Фролову следующее. Факт, что мои дела сожжены, я допускаю с сомнением. Утверждение, что они сжигались, как не представляющие ценности, просто лживо. То, что последнее дело сжигалось (наверное, в спешке) 20 августа 1991 года, говорит о том, что оно содержало наиболее чувствительную информацию, КГБ спешно заметал следы своих преступлений. Но не думаю, что полностью замел. В то, что не сохранилось никаких следов операции, проведенной 11 мая 1975 года, не верю. Не может этого быть. Если меня никто не травил, то свидетельства этого, наоборот, хранились бы очень бережно. Если меня никто не

травил, то обязательно был какой-то запрос по этому делу и какой-то ответ. Неужели я поднял такой шум, и никто не поинтересовался: что это Войнович там плетет и что было на самом деле? Неужели никакого запроса ни из ЦК в КГБ, ни внутри КГБ от верхнего начальства к нижнему не было, никакого запроса и никакого отчета?

– Не было, – стоит на своем Серега. – Ну, может, начальник управления позвонил ребятам: что, мол, там у вас случилось, они объяснили по телефону, и все. Что там особенно разбирать!

– Сергей Сергеевич, а почему бы вам этих «ребят» сейчас все-таки не вызвать и не спросить их, что именно они тогда со мной сделали?

Он вздыхает:

– Владимир Николаевич, ну как же мы их можем вызвать? Я же вам говорю, один вообще живет в Казахстане, то есть в другой стране, а второй…

– Что второй?

– Он все равно не скажет. Тут уж и я вздыхаю:

– Сергей Сергеевич, разве у вас есть такие люди, которые вам не скажут, если вы захотите? Да что же он, стойкий такой диссидент? Муций Сцевола? Зоя Космодемьянская? Допросите как следует, и, я вас уверяю, все скажет.

Наш разговор был долгим, и я спросил:

– Сергей Сергеевич, а почему вы лично так уверены, что меня никто не травил? Вы считаете, что ваша организация вообще на такие дела не способна?

– Владимир Николаевич, я не буду отвечать на этот вопрос. Но так, между нами, я бы еще поверил, если бы с вами что-нибудь сделали во время оперативной разработки, но тогда разработки еще не было. Тогда еще было только дело оперативной подборки, а во время оперативной подборки… нет, это невозможно.

– Скажите, а вот дело Богатырева в какой стадии было, когда его трахнули по голове? Это уже разработка была или еще только подборка? Или вы думаете, что его стукнули не ваши?

– Я не знаю.

– Ну, конечно, не знаете. А могли стукнуть или это тоже мои фантазии?

– На этот вопрос я тоже отвечать не хочу…

Тут, пожалуй, пришла пора рассказать об этом убийстве, которое когда-то взбудоражило многих, но прошло почти без огласки тогда и сейчас редко поминается.

Убийство Богатырева

26 апреля 1976 года (был второй день Пасхи) Константин Петрович Богатырев, ожидая кого-то в гости, около семи вечера, перед закрытием магазина вышел из дому купить вина. Дома оставалась мать Тамара Юльевна, которой было к той поре лет около девяноста. Через какое-то время она услышала жуткий крик и, когда выглянула на лестничную площадку, увидела существо, которое, обливаясь кровью и пронзительно крича, ползло к ней от открытого лифта. Тамара Юльевна, перепугавшись, попятилась и хотела закрыть дверь, но существо, обхватив ее ноги, втащилось вместе с ней в квартиру, вплыло в луже собственной крови, и только тут старуха сообразила, что существо было человеком, и больше того – ее сыном Костей.

«Скорая помощь» отвезла Костю в реанимацию. Там было определено, что голова его проломлена тупым предметом (возможно, бутылкой), завернутым в ткань.

С тех пор прошло много лет, подробностей того, как развивались события, я тогда не записал, боюсь, что никто другой этого тоже не сделал, попробую восстановить то, что вспомнится, хотя и разрозненно.

Кто-то из врачей сказал, что удар был нанесен Косте явно профессионалом. Убийца знал точно, куда бить и с какой силой, но не знал только, что у убиваемого какая-то кость оказалась аномально толстой.

Нападение на Богатырева переполошило весь «Аэропорт», то есть писателей, которые жили у станции метро с одноименным названием. Не то чтобы им так уж была дорога жизнь Кости Богатырева, но нападение на него делало их собственное существование не столь безопасным, как казалось до этого. Брежневские времена отличались от сталинских тем, что борьба шла в определенных рамках: хватали, судили, сажали не без разбору, а только несоблюдавших основное правило поведения, которое на полублатном языке формулировалось так: сиди и не петюкай. Писатели это правило очень усвоили и не петюкали. сами себе внушая, что это непетюканье объясняется их несуетным обитанием в мире высших замыслов и сложных вымыслов, а если и в сферах более приземленных кого-то сажают, казнят или чего-то еще, то, видимо, эти люди сами на то напросились, по каким-то мазохистским и саморекламным причинам желая быть в числе сажаемых и казнимых. И вдруг всем дано было однозначно понять, что не только Костю Богатырева, а любого можно вывести из мира художественных вдохновенных видений с помощью

бутылки, завернутой в мешковину, или другим примитивным (что оскорбительно) способом. Писатели всполошились и забубнили между собой, выражая тревогу и даже недовольство тем, что власти выходят за ими же установленные рамки и нарушают неписаный договор. Уже на другой день некоторые оторвались от письменных столов, нацепили на рукава красные повязки дружинников и пошли группами по три-четыре человека обходить подъезды и другие места, где может совершиться насилие. Конечно, не все были уверены, что нападение на Богатырева – дело рук КГБ, высказывались предположения, что он, может быть, в очереди за вином повздорил с какими-то алкашами или был прибит неразборчивыми грабителями, но пребывавшим в таком заблуждении сразу дали понять, чтобы они подобные глупости даже и в голове не держали. Критик Владимир Огнев был делегирован к Виктору Николаевичу Ильину. Судя по поведению Виктора Николаевича и некоторым его намекам, он с бывшим своим ведомством связи не потерял, поэтому в некоторых случаях к нему люди обращались не только как к секретарю СП, но и как к представителю органов. А он от имени органов отвечал. Как я слышал, разговор Огнева с Ильиным был примерно таким.

– Кому и зачем понадобилось убивать этого тихого, слабого, интеллигентного и безобидного человека? – спросил Огнев.

– Интеллигентный и безобидный? – закричал Ильин. – А вы знаете, что этот интеллигентный и безобидный постоянно якшается с иностранцами? И они у него бывают, и он не вылезает от них.

Даже в те времена, когда у людей мозги были сильно сдвинуты, многие понимали, что наказать человека за якшание с иностранцами, может, и следует, но убивать – это все-таки слишком и уж, во всяком случае, назначать за якшание смертную казнь вряд ли станет обыкновенный бандит.

Это странное высказывание Ильина укрепило многих в подозрении, что убийство было политическое и совершено, скорее всего, КГБ, сотрудники которого и дальше не только не пытались отрицать свою причастность к событию, а наоборот. Как мне в «Метрополе» кагэбэшник подмигивал, намекая: мы. мы, мы убили Попкова, так и здесь они настойчиво, внятно и грубо наводили подозрение на себя.

Тогда, рассказывали, к лечащей докторице пришел гэбист и, развернув красную книжечку, спрашивал, как себя чувствует больной, есть ли шансы, что выживет, а если выживет, то можно ли рассчитывать, что будет в своем уме.

– Ну, если останется дурачком, пусть живет, – сказал он и с тем покинул больного.

Жена Кости Елена Суриц ходила в Союз писателей, кажется, к тому же Ильину, он и с ней разговаривал грубо и раздраженно, вникать в дело отказывался, и это тоже укрепляло людей в тех же подозрениях.

Следствие велось с демонстративной небрежностью и словно бы понарошку. Придурковатый участковый Иван Сергеевич Стрельников обошел нескольких знакомых Богатырева и задал им по нескольку глупых вопросов. Никаких серьезных следователей, а тем более следователей по особо важным делам никто, кажется, и не видел, а здесь им было бы самое место. Я дружил с Богатыревым более или менее близко, меня о нем никто ни разу не спросил. Хотя я в то время был уже как бы вне закона и власти меня игнорировали, но все же ради такого из ряда вон выходящего случая они могли и должны были как-нибудь проявиться. Вряд ли я дал бы сколько-нибудь полезные показания, но в случае убийства, да еще столь неясного, с необнаруженными убийцами, следователь не имеет права упускать никакой ниточки. Здесь же было очевидно, что идет не выяснение истины, а что-то другое.

Кагэбэшники не только старательно намекали на свою причастность к убийству, но похоже было, что даже сердились на тех, кто пытался отвести от них подозрение.

Лев Копелев, например, был уверен – и уверенность эту громко высказывал, – что убийство Богатырева – это обыкновенное уголовное дело. Так ему, жившему на первом этаже соседнего с Костиным дома, в один из ближайших вечеров вышибли окно кирпичом, чтобы не молол чепухи и не наводил людей на ложный след.

Костя в самом деле общался, и очень много, с иностранцами, у него я встречал американцев и англичан, но в основном его друзья были немцы. С немцами он водился потому, что был переводчиком с немецкого, потому, что обожал немецкий язык, немецкую литературу и самих немцев, и потому, что немцы время от времени дарили ему дорогие книги, а отношение к книгам у него было своего рода помешательством. Книги чужие он брал охотно, но своих не давал никому не то что насовсем или на время, но даже дотронуться не позволял. Особенно те, дорогие, присланные или привезенные ему из-за границы. Он очень любил хвастаться этими книгами и охотно их показывал, но всегда только из своих собственных рук. Да и сам часто, прежде чем взять книгу, мыл руки, как хирург перед операцией. Дружа с немцами, он порой просил их передать кому-то какое-то письмо, обычно свое, иногда чужое. Его собственные письма, я думаю, были весьма безобидного содержания, да и другие письма тоже

вряд ли угрожали безопасности советского государства. Я сам для отправки писем пользовался Костиным посредничеством раза два-три, не больше.

Формально говоря, диссидентом он не был. В свое время он подписал несколько писем протеста, и последнее было против моего исключения. Но на этом он и остановился. И если возникала ситуация, что мне при нем приходилось подписать что-нибудь эдакое, он подходил ко мне и, волнуясь, говорил: «Знаешь, я это подписать не могу, ты на меня не сердись», а я сердиться вовсе не думал. Мне эти письма самому надоели, но я их чаще всего подписывал, стесняясь отказать и еще потому, что мне терять уже было нечего.

Если в КГБ на него и злились, то, может быть, только за то, что он вел себя, с их точки зрения, независимо, не по чину. Не спрашивая начальства и не пытаясь угадать его мнение насчет того, с кем можно общаться, с кем нельзя и с кем о чем говорить. Поэтому у него и было много друзей среди иностранцев и опальных соотечественников, в их число входил Андрей Дмитриевич Сахаров, у которого Костя часто бывал.

Жертва была выбрана очень точно.

Костя был одновременно и многим знаком, и мало известен. Ясно было, что слух о его убийстве разойдется далеко и в то же время слишком большого шума не будет. Кроме того, это убийство покажет колеблющимся, что с ними может быть, если они будут себя вести так, как он.

Богатырев умер 18 июня. За все время нахождения в реанимации он почти не приходил в сознание, а когда приходил, то ничего вразумительного о происшедшем сказать не мог. Только однажды вроде бы прошептал жене: «Ты не представляешь, какие страшные вещи они мне сказали». Впрочем, очевидно, страшнее было не то, что они сказали, а что сделали.

Хоронили его на Переделкинском кладбище, неподалеку от Пастернака. Отпевали в тамошней церкви. Священник, желая, видимо, заодно обратить к религии столпившихся в церкви безбожников, сказал над гробом, что религия и наука друг другу нисколько не противоречат, существование бога и потусторонней жизни подтверждены современными открытиями, и прежде всего теорией относительности Эйнштейна.

Он говорил долго. Не дождавшись конца проповеди, я вышел наружу. У церкви стояло большое количество иностранных автомобилей, а среди советских марок были «Волги» и «Жигули» прикативших на шабаш гэбистов. Сами они толкались среди народа и прятались, как обычно (это я уже не первый раз такое видел), словно черти, в кустах.

Среди людей, стоявших в церкви и около, было много известных. Ко мне подошел корреспондент «Франкфуртер альгемайне цайтунг» Герман Пёрцген с блокнотом и стал спрашивать: «Рядом с Сахаровым это кто? Боннэр? А Ахмадулина с кем? С Мессерером? А Чуковская тоже приехала? А Евтушенко здесь нет?»

Недалеко от входа в церковь на лавочке сидел Александр Межиров. Я его спросил, почему не видно Евтушенко.

– А в-вы не б-бе-спо-по-койтесь. Как только появятся телевизионные камеры, так возникнет и Евтушенко.

Меня поразила точность предсказания. Когда начали выносить тело из церкви, появилась команда телевизионщиков, я вспомнил слова Межирова и стал искать глазами Евтушенко. Но найти его оказалось легче легкого: он был первым среди несущих гроб и, наверное, на каких-то экранах показан был крупным планом в качестве главной фигуры события.

Гроб несли по узкой, кривой и склизкой дорожке, кагэбэшники с шорохом сыпались из кустов и, направляемые неким предводителем, который был хром и с золотыми зубами (что делало его еще больше похожим на черта), щелкали затворами фотоаппаратов с блицами (чтобы было заметнее) и снимали происходящее кинокамерой, часто приближая ее вплотную к лицам наиболее им интересных людей.

Многочисленность народа и присутствие кагэбэшников делали обстановку нервозной, было предощущение того, что вот-вот произойдет что-нибудь крайне непристойное, может быть, даже и страшное.

Начались речи. Не помню, кто что говорил. Я до того ни разу ни на чьих похоронах не выступал и в этот раз не собирался. Но присутствие кагэбэшников и их разнузданность подтолкнули меня. Я подошел к краю могилы и сказал примерно вот что:

– Когда-то Константин Богатырев был приговорен к смерти за покушение на Сталина, на которого он не покушался. Потом он был помилован, и смертную казнь ему заменили двадцатью пятью годами лагерей. Срок этот полностью Богатыреву отсиживать не пришлось, после смерти Сталина его освободили и реабилитировали. Но он, не очень доверяя судьбе, с тех пор постоянно ждал – и это распространенный среди бывших лагерников синдром, – что его в любой день могут арестовать и отправить в лагерь для отбытия неистекшего срока. Совсем недавно мы, его друзья, в его квартире отмечали окончание этого срока. Мы еще не знали, что тот первый приговор к смертной казни кто-то восстановит и что он так скоро будет приведен в исполнение. Совершилось преступление, участники которого и

тот судья, который выносил свой приговор, и те палачи, которые двадцать пять лет спустя его исполнили. Я думаю, что убийцы сейчас здесь, между нами. И я хочу им сказать, что, убивая ни в чем не повинного чистого человека, они к высшей мере наказания приговорили прежде всего самих себя. Они в себе убили все человеческое и перестали быть людьми.

Я закончил свою речь обычными в подобных случаях словами, что Богатырев останется живым в нашей памяти и в своих стихах.

После чего один из поэтов сказал, что насчет стихов я загнул лишнего, стихи у Богатырева слабые и о них лучше было не упоминать.

А один критик сказал, что после такой речи мне, пожалуй, самому не сносить головы.

А Евгений Евтушенко опять не упустил случая меня угрызть и сказал Владимиру Корнилову, что Богатырев был скромный порядочный человек, а Войнович превратил его похороны в политический митинг.

Последним выступал, если не ошибаюсь, поэт Виктор Урин. Он сначала прочел свои стихи по бумажке, а потом, когда опускали гроб, бросил бумажку в могилу.

Сейчас мне это не кажется удивительным, но тогда я не мог понять, почему убийство Богатырева вызвало такой слабый отклик на Западе.

Я внимательно слушал все западные радиостанции и только по «Немецкой волне» поймал невнятный рассказ упомянутого мною выше Пёрцгена о похоронах Кости. Даже не столько о самих похоронах, а о том, какие важные люди на них присутствовали.

Исключение кого-нибудь из КПСС, арест на пять суток часто вызывали на Западе гораздо больше шума, чем убийство этого невеликого и незнатного человека. Одному известному поэту месяцев восемь не давали разрешения на поездку в Америку, это по меркам цивилизованного общества было в самом деле большое безобразие, и о нем справедливо трубила вся американская и отчасти мировая пресса. А убийство Богатырева стало темой нескольких мелких заметок, и всё.

Случай этот показал наглядно, что убийство внутри страны было для КГБ очень удобным, радикальным, дешевым и наиболее безопасным способом устранения политического противника или неугодного лица. Для того чтобы посадить человека в лагерь или в психушку, его надо арестовывать, вести следствие, ломать комедию суда, писать статьи в газетах, отвечать на неприятные вопросы, отменять международные встречи или демонстративно покидать их с оскорбленным выражением на лице. А тут одна литая бутылка, один хороший удар, и – следов много (и это

хорошо), но доказательств нет и не может быть никаких. Поэтому «мокрые» дела КГБ (на их языке, кажется, «активные мероприятия») за границей время от времени раскрывались (чаще, наверное, все-таки нет), а внутри страны никогда. Ни разу! Может быть, в тот самый день, когда хоронили Костю, или через какое-то время пришлось мне зайти в дом одного видного советского диссидента. У него на кухне сидела миловидная женщина, жена известного американского советолога, и даже не просто советолога, а ближайшего советника будущего президента Джимми Картера. Она пила чай с печеньем и благодушествовала о том, что в Советском Союзе постепенно дела сдвигаются к лучшему.

– В чем вы замечаете эти сдвиги? – испросил я ее.

– Ну, например, у вас стало легче выезжать за границу, – сказала она и назвала упомянутого мною поэта, которому как раз в те дни дали паспорт на поездку в Америку.

И прогрессивная мировая общественность восприняла этот факт с чувством глубокого удовлетворения и с надеждой, что это есть хороший знак и признак постепенной либерализации советского режима.

А что касается убийства какого-то переводчика, то мало ли где, кого и за что убивают. Такое может случиться с кем и когда угодно, и не только с противниками КГБ. Виктор Николаевич Ильин был не противником, а сам собой олицетворял эту контору, но уже в благословенные перестроечные времена, приближаясь к девяноста годам, начал проявлять признаки старческой болтливости, что, может быть, и стало причиной отказа тормозов у грузовика, который сбил Виктора Николаевича, подмял под себя и размазал по асфальту липкое вещество, хранившее столько мудрых мыслей, важной информации и, может быть, даже несколько интересных догадок по поводу убийства Богатырева.

Последний разговор с Серегой

Во многих детективных фильмах я видел, как попавшие в руки ФБР советские шпионы легко проходят проверку детектором лжи. Я в это охотно верю. Не только шпионы, а все советские люди поголовно прошли большую школу лжи, которой их обучали родители, детсадовские воспитатели, учителя, газеты, книги, радио, телевидение, парторги и лекторы из общества «Знание». А уж в школах КГБ – МБ, я думаю, курсант получает столь высокое образование, что смутить детектор лжи сможет только случайно проговоренной правдой.

Такая примерно мысль пришла мне в голову, когда я общался с теперешними кагээмбистами. Лгут в глаза, не краснеют, не стесняются и не смущаются, когда ловишь за руку. Впрочем, Серега немного смущался, но и смущение переносил мужественно.

Я очень просил его дать мне телефон Фролова, и он дал. Я позвонил, там мне сказали, что это телефон не Фролова, у Фролова другой телефон, но номер они мне сказать не могут. Я опять позвонил Сереге, он опять мужественно смутился:

– Извините, может быть, я ошибся. Сейчас я проверю.

Он позвонил по другому аппарату, я напряг ухо и услышал: «Что? Не давать? Хорошо. Понял». Вернулся к аппарату, связанному с моим: «Владимир Николаевич, у Фролова сейчас ремонт, и прямой телефон не работает, но вы можете попробовать соединиться через коммутатор…»

Ну, что, должен был я ему сказать, что он врет?

Испытывать на лживость лубянский коммутатор я не стал и сказал Сереге, что общение с ним и вообще с Министерством безопасности прекращаю. Но напоследок прошу меня выслушать внимательно и передать мое мнение Фролову, что Министерство безопасности намеренно уклонилось от расследования, санкционированного президентом страны. Объяснения по поводу сложности расследования смехотворны и доказывают только то, что Министерство безопасности заинтересовано в сокрытии по крайней мере данного преступления (и других тоже) и укрывает преступников. Это очевидно мне, очевидно каждому непредвзятому человеку и очевидно будет всем читателям того отчета, который я составлю. Я предоставляю министерству последнюю возможность повлиять на содержание моего отчета и доказать, что оно отличается от КГБ и истины не боится. Предъявите, сказал я, мне какой-нибудь документ, запрос, отчет, рапорт, доклад 1975 года, содержащие ответ на мои обвинения.

Если такой бумаги нет, пригласите меня и двух независимых экспертов (пусть одним из них будет Борис Золотухин), представьте экспертам те доказательства, которые вам кажутся достаточными (или объясните, почему их невозможно представить). Устройте очную ставку с «Захаровым» (если нельзя – с «Петровым»), и мы посмотрим, скажет он что-нибудь или не скажет, и, если не скажет, спросим, почему не говорит, а если скажет, подумаем, верить ему или нет.

Я дал Министерству безопасности достаточно времени, чтобы оценить логичность моих требований и сделать из этого нужные выводы. И один вывод они, видимо, сделали: что каждое их «доказательство» ставит их во все более глупое положение и лучше не говорить ничего, чем говорить что-нибудь. А тайна, которую я пытался у них выведать, настолько им дорога, что ради сокрытия ее они готовы выглядеть лгунами, мошенниками и саботажниками президентского указания.

Все общество было отравлено

Пытаясь добыть нужную мне информацию на Лубянке, я и других источников не чурался и от одного из них (он просил меня его не называть) узнал (через восемнадцать лет!) реальные фамилии моих отравителей. Того, кто когда-то назвался мне Петровым, в миру зовут Смолин Пас Прокофьевич (наверно, папаша был футбольный болельщик). На день моего отравления Пас Прокофьевич был начальником отдела, но не простого, а (если мой источник не ошибается) исследовательского. «При чем тут исследовательский отдел? – спросил я. – Разве мое отравление имеет какое-нибудь отношение к исследовательской работе?» – «А как же! – возразил источник. – Конечно, имеет. Это же был как-никак научный эксперимент». Вскоре после моего отравления и, возможно, в связи с ним исследователь Смолин был от «научной» работы отстранен и переведен (наказание с повышением) начальником управления в Саратов (а не в Караганду), там и правда дослужился до генерала, вышел на пенсию и, должно быть, вернулся в Москву. А так называемый Захаров Геннадий Иванович в свое время особо не фантазировал, произвел свой псевдоним из фамилии Зареев, а имя и отчество оставил свои. Чем занимается Зареев сейчас, не знаю, но несколько лет назад он исправлял должность, которая в полном виде называлась «заместитель начальника Управления по экспорту и импорту прав на произведения художественной литературы и искусства ВААП». Это я узнал из газеты «Советская Россия» от 13 сентября 1987 года, где этот поборник прав призывал западных издателей сотрудничать с ВААП «на честной, справедливой и гуманной основе».

Наш рассказ подходит к концу, и пора украсить его последними небольшими открытиями.

В конце мая этого года в Москве проходила международная конференция «КГБ вчера, сегодня, завтра», самая удивительная из всех, на которых автору пришлось побывать. Участвовали бывшие диссиденты, журналисты, публицисты, члены правительства и работники КГБ – МБ, бывшие и теперешние. Бывшие свою прежнюю службу критиковали, но часто не с той стороны, с которой мне бы хотелось. Одного, экс-директора научно-исследовательского института КГБ СССР (наука там была поставлена сильно), руководство КГБ огорчало тем, что мало внимания уделяло научным исследованиям (а я думаю, хорошо, что мало, а то бы они нас всех перетравили). Другой говорил что-то о бюрократизме и карьеризме.

Нынешние работники ГБ – МБ свою службу и свои старые кадры оправдывали, говоря, что каждое государство нуждается в защите своей безопасности, а этим успешно могут заниматься только хорошо обученные и опытные профессионалы, то есть они же сами.

Теоретически я с ними согласен, но конкретно в профессионалах из КГБ сомневаюсь. Они в основном обучены и натасканы стряпать выдуманные ими же дела (часто на основе измышлений стукачей-любителей), они умеют заставлять людей клепать друг на друга и на самих себя, вымогать ложные показания, признания и покаяния, проламывать в подъездах головы слабых интеллектуалов и подсовывать отраву растяпе, которого можно отвлечь простейшим способом: смотри, вон птичка летит! А в то, что такие специалисты способны раскрывать реальные замыслы, бороться с реальными шпионами, террористами, диверсантами, я, правду сказать, не верю. Не говоря уже о том соображении (моральном и практическом), а можно ли доверять судьбу государства, еще не вставшего на ноги, людям, воспитанным на лжи, подлогах, коварстве и убийствах из-за угла?

На конференции «КГБ вчера, сегодня, завтра» я рассказал о своих поисках и находках. Я добросовестно перечислил все предъявленные мне доказательства моего неотравления и сказки про отдельную папочку, про то, что не осталось никаких следов и что Смолина нельзя найти, а Зареев не скажет. Доводы моих оппонентов компетентной публике в зале конференции показались столь неуклюжими, что, кажется, каждый из них она встречала громким хохотом. И не успел я сойти с трибуны, ко мне один за другим стали подходить кагэбисты-эмбисты и – один громко, другой шепотом, третий с оттаскиванием меня в сторону женского туалета – стали выкладывать, кто что знал. Они подтвердили, что в 1975 году мною занимались Смолин (тогда еще полковник) и Зареев (капитан). Причем Смолин на это опасное (для кого?) задание сам напросился (хотел небось уже тогда выбиться в генералы), а за ним, вероятно, еще стоял некто Цуркан (по описанию одного из информаторов «черный такой, похожий на цыгана, но вообще-то по национальности молдаванин»), специалист, как я понял, по травле людей химией. Когда меня в гостиничном номере травили, он, возможно, прятался там же за описанной мной занавеской или находился в другом номере, куда и выскакивал к нему Зареев за консультацией по ходу эксперимента.

Там же, в кулуарах конференции, я узнал, что яды и способы их применения против людей разрабатывались(ются)

лабораторией № 12, которая находится где-то на 3-й Мещанской улице.

По окончании конференции был банкет, возлияния и братания всех со всеми. Ко мне подходили славные наши чекисты и просили поставить подпись, нет, не под протоколом допроса, а на моей книге, или на чужой, или на бумажной салфетке. Все они (кажется, даже без исключений) оказались читателями и почитателями моих книг и особенно «Чонкина», за которого в недавнее время по долгу службы могли бы и пришибить. Я смотрел на них с любопытством. Вроде люди как люди, и все-таки не совсем. Что бы они сейчас ни говорили, а в свое время (и некоторые по многу лет) занимались они тем, на что большинство людей не способны были никогда, ни при каких обстоятельствах. Что их туда привело? Слепая вера в идеологию (которую они путали с идеалами)? Романтика шпионской жизни? Цинизм? Карьерные соображения? Может быть, то и это, но многих, я думаю, вели туда просто преступные наклонности и возможность удовлетворять их без риска наказания. И покинули они свою контору тоже по причинам разного свойства. Кто (наверное, немногие) устыдившись этой службы (а как их отличить от других?), кто разочаровавшись, что она не дала им того, чего они от нее ожидали, а большинство, должно быть, по инстинкту крысы с тонущего корабля.

Как бы то ни было, теперь все были вместе, пили, закусывали, переходили от столика к столику.

В конце банкета я оказался за одним столом с бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным, которого не преминул спросить, что он думает по поводу моего рассказа.

– Ну что ж, – сказал Калугин, – по-моему, вы все точно определили. Против вас, вероятно, было употреблено средство из тех, которые проходят по разряду «brain-damage» (повреждение мозга). Такие средства применялись, и неоднократно. Например, с ирландцем Шоном Бёрком. Он сначала нам помог с Джорджем Блейком. С тем самым английским контрразведчиком, который стал работать на нас, был разоблачен и посажен. Шон Бёрк помог Блейку бежать из тюрьмы в Советский Союз и сам убежал вместе с ним. Но через некоторое время затосковал по родине и стал проситься обратно. Его долго уговаривали, чтобы он этого не делал, но он настаивал на своем. Тогда ему сделали brain-damage и отпустили. Пока он доехал до Англии, уже ничего не помнил. Только пил и в пьяном виде молол какую-то чушь, из которой никто ничего не мог понять. И вскоре умер. А еще есть такое средство, что, если им намазать, скажем, ручку автомобиля, человек дотронется до ручки и тут же умрет от инфаркта.

Сначала такое именно средство хотели применить против болгарина Георгия Маркова, но потом побоялись, а вдруг кто-нибудь другой подойдет и дотронется.

Мы оба были навеселе, и я спросил: а если другой дотронется и умрет, разве жалко?

– Нет, конечно, – засмеялся Олег Данилович, – но каждый лишний случай употребления этого вещества увеличивает риск разоблачения. Поэтому подумали и додумались до стреляющего зонтика.

Я решил извлечь из нашей встречи максимальную пользу и спросил Калугина, что он думает по поводу убийства Богатырева.

– Не знаю, – сказал он, – не думаю, что его убили намеренно. Может быть, хотели как следует проучить, но перестарались.

Может быть. Хотя я помню рассказ об утолщенной кости, о предположении врача, что убийцы как раз не достарались, и об активном стремлении гэбистов записать убийство на себя.

Другой бывший гэбист, просивший его не называть, сказал, что он удивлен, как после отравления точно я оценил свое состояние и насчет сигарет тоже не ошибся. Он же предположил, что средство, примененное против меня, не оказалось столь эффективным именно потому, что вводилось в организм через табачный дым, а не с едой или питьем. Но мои отравители работу со мной не считали оконченной, приглашал же меня «исследователь» Смолин встретиться еще через две недели. Однако после сделанных мною разоблачений получить санкцию на продолжение операции им уже, наверное, было непросто. Тут уж было бы все шито белыми нитками, а под таким шитьем ни Андропов, ни те, кому направлялись экземпляры его письма номер два и номер один, прямо подписаться, наверное, не хотели.

Выше я рассказал о признаниях хотя и компетентных, но не вполне официальных, а официальное вывел из хронологического ряда и приведу теперь.

Откровенно говоря, выступая на конференции, я думал, что и на этот раз мое заявление будет пропущено действующими кагэбистами мимо ушей, но вышедший в конце третьего дня на трибуну их представитель Юрий Короткий сказал легко и лирически слова, которые следует занести на скрижали, выбить на гранитном цоколе лубянской цитадели, ну, а мы, в пределах наших возможностей, просто выделим их жирным шрифтом:

– Да, – признал Короткий, – Войновича отравили, но ведь и все наше общество было отравлено.

Я знаю одну очень глупую женщину, которая, не понимая связи явлений, пересчитывает в дни получки тысячные купюры и огорченно вздыхает:

– Эх, кабы эту зарплату да лет десять тому назад при тогдашних-то ценах.

Вот и нам бы это признание да лет восемнадцать тому назад.

А впрочем, и сейчас оно полностью своей ценности не утратило.

Насчет общества Юрий Короткий прав. Семьдесят лет в мозги общества средства типа brain-damage вводились с пи-шей, водой и воздухом и в виде пропаганды проникали через глаза и уши.

Что касается нашей конкретной истории, то за общее и запоздалое подтверждение ее Министерству безопасности спасибо, но желательно все же получить и прямой отчет с конкретными (а не вычисленными эмпирически) ответами на наши вопросы и указать поточнее, кто был инициатором описанной операции, какова была ее истинная цель, какое средство применено (химическая формула), кто разрабатывал и где (точно, а не приблизительно), против кого еще (не считая меня и Шона Бёрка) применялась подобная химия, в каких масштабах и дозах? Какие гарантии того, что в будущем травить нас не будут? Меня лично также интересует, а почему это министерство, которому я лично ни на грош не доверяю, само решает, какие тайны и как крепко хранить, почему оно не подчиняется президенту, почему уничтожаются архивы, кто на каком уровне решает их уничтожать и нельзя ли это остановить? Любопытно было бы узнать, почему заместитель министра (насчет министра не знаю [14]), хотя и пришел из МВД, врет не хуже профессионального чекиста и зачем врет? Почему он не боится не исполнить указание Президента страны? Значит ли это, что указание дано не всерьез или там не всерьез принимают самого Президента? Любой ответ на этот вопрос приведет нас к выводу, что органы госбезопасности остаются зловещей силой, которая в нужный момент опять может быть направлена против нас. Я не знаю, чем принципиально отличается нынешнее МБ от бывшего КГБ (по-моему, только составом букв и ограниченностью – надежной ли? – возможностей), но рассказанная мною история уличает это министерство по крайней мере в сокрытии преступлений и укрывательстве преступников. А это само по себе преступление.

Послесловие

На этом я решил свое расследование прекратить. Суть дела ясна, а деталями пусть кто заинтересуется, тот и займется.

Какие-то люди советовали мне не останавливаться на достигнутом, разыскать своих отравителей (может быть, даже просто через справочное бюро), но я этого делать не стал. Мне с ними говорить не о чем. Мне они в самом деле ничего не скажут. В лучшем случае будут врать или, как выражаются уголовники, уходить в несознанку. Сказать правду они должны в кабинете следователя, а для него данный текст является достаточным материалом.

Тут мы приблизились к вопросу о том, как быть со всеми людьми, которые в недавнем прошлом управляли государством, служили в КГБ штатно или нештатно, судили невинных, писали клеветнические статьи, подписывали шельмующие письма, разбивали семьи, упекали людей в лагеря или в психушки, убивали ядом или булыжником. Как быть с ними со всеми? Судить? Простить? Забыть?

На конференции «КГБ вчера, сегодня, завтра» обсуждался вопрос о люстрации, то есть об ограничении допуска бывших партийных функционеров, штатных работников КГБ и тайных осведомителей на важные государственные посты. Разумеется, самыми строгими критиками идеи люстрации стали как раз бывшие партийные воротилы и кагэбисты. Они поголовно считают, что люстрация антидемократична, негуманна и аморальна. Слушая приводимые доводы (и со многими соглашаясь), я подумал, что, наверное, наиболее решительными противниками смертной казни являются убийцы, ожидающие исполнения приговора. Противники люстрации говорили об опасности того, что люстрация очень легко может превратиться в «охоту за ведьмами», и это вполне вероятно – они сами эту охоту возглавят и будут ловить не себя. На конференции много раз звучало слово «милосердие», употребляемое чаще всего всуе и не к месту и при полном непонимании его значения. Милосердие можно проявить к любому человеку, и даже к преступнику, и даже к самому страшному преступнику, когда ему грозит суровое наказание. Но, господа любители афоризмов, запишите себе в блокнотик: прежде чем проявлять к преступнику милосердие, его надо поймать. А он хотя всем известен, но гуляет непойманный, охотно рассуждая об общей вине, которую он навсегда готов разложить на всех поровну.

В защиту нынешних кагээмбистов много раз приводился

аргумент, что они есть просто некая, чуть ли не нейтральная, сила, которая раньше была направлена на защиту тоталитарного строя, а теперь с тем же успехом может защищать демократию.

Ну, что ж… Говорят, в Индии дрессированные кобры, обвившись вокруг стоек кроватей, надежно охраняют покой спящих младенцев.

ПРИМЕЧАНИЯ

notes

[1] Само это заседание и затем следующее – секретариата Союза писателей РСФСР – состоялись в такой тайне, что никто из участников и доныне о нем ни разу не проговорился, а некоторые, не зная, что у меня есть протокол с их именами, уверяют меня в безупречности своего поведения во все времена.

[2] Это все намеки на некоторые конкретные делишки тогдашних секретарей.

[3] Некоторое время спустя И. В. Морозов повесился после какого-то, как я слышал, скандала в издательстве.

[4] Ильин Виктор Николаевич (1904 – 1990), в двадцатых – тридцатых годах служил в органах госбезопасности, достиг чина, соответствующего званию генерал-лейтенанта, был арестован, просидел лет, кажется, десять, в описываемое время был секретарем Московского отделения Союза писателей РСФСР по организационным вопросам.

[5] Я заметил, что многие люди воспринимают то или иное суждение автора о себе самом, как неизменное на все времена. Между тем мое отношение к политике в течение моей жизни менялось много раз – от полного равнодушия к пристальному интересу (но без желания лично вовлечься) и наоборот.

[6] Центральный государственный архив литературы и искусства.

[7] Не могу перевести иначе, как «склонный к улетучиванию».

[8] Когда я находился на дне советского общества, моя несовместимость с ним в глаза не бросалась, но стоило мне чуть-чуть всплыть, она стала очевидной и вопиющей.

[9] Эти слова я тогда понял, как намек на Лидию Чуковскую, которая очень раздражала власти, но ее тогдашний возраст (68 лет) и слабое сердце позволяли им надеяться на скорое избавление от нее. Сейчас Лидии Корнеевне 85 лет, она в добром здравии, и надеюсь, долго еще не оправдает надежд своих врагов.

[10] Недавно я прочел отрывок из мемуаров А. Чаковского, где написано, что Чхи (так звали этого человека в его кругу) «был хороший доброжелательный человек… когда он стоял перед необходимостью (интересная перед некоторыми возникает необходимость… – В. В.) сделать журналисту добро или зло, Чхи выбирал добро».

[11] Level – уровень *(англ.)*.

[12] Несколько лет спустя, оказавшись в Бостоне, я встретил Тришу и не узнал. Она долго держала диету, что ей пошло на пользу во всех отношениях, даже в отношении астмы.

[13] Его вскоре обвинили в том, что он агент ЦРУ, и объявили персоной нон грата.

[14] Эти строки были написаны до снятия Виктора Баранникова поста министра безопасности.